
THE
BOOKER
PRIZE
2000
Trezza Azzopa
The Hi
BOOKER PRIZE
Трецца Адзопарди · Укрытие

Укрытие
Трецца Адзопарди

Аннотация
Трецца Адзопарди. УКРЫТИЕ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Ожидание
- Один
- Два
- Трут
- Три
- Четыре
- Пять
- Вмешательство
- Шесть
- Семь
- Восемь
- Девять
- Амулет
- Десять
- Пропавшие
- Одиннадцать
- Двенадцать

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Ожидание 2
- Тринадцать
- Четырнадцать

Пятнадцать
Шестнадцать
Семнадцать
Восемнадцать
Девятнадцать
Список

Аннотация

Долорес Гаучи — младшая из шести дочерей в семье мальтийских эмигрантов, перебравшихся в английский порт Кардифф в середине XX века. Спустя много лет она возвращается в родной город на похороны матери. Лирический монолог Долорес погружает читателя в зыбкий мир ощущений и переживаний маленькой девочки, хранящей в своем сердце нежность и боль за близких. Благодаря изысканному ритму повествования воспоминания главной героини о детстве выстраиваются в причудливую картину жизни мальтийской общины под серым небом Кардиффа 60-х.

Шорт-лист Букеровской премии 2000 года.

Трецца Адзопарди
УКРЫТИЕ

Моей маме

Спасибо Дереку Джонсу и Линде Шонеси из АП «Уатт», а также Мэри Маунт и Питеру Штраусу из «Пикадора».

Особая благодарность Рите Исааке и Эндрю Маушену.

И отдельное спасибо Джону Кемпу за песни, которые он вспомнил; Дэвиду Хиллу за то, что он все читал и читал эту книгу, и Стивену Фостеру за то, что оставил книгу в покое.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Ожидание

Кэрол Джексон хоть и сидит в коляске, но ее мама от нее не отходит, а вот моя стоит внизу и шепчется с надушенной женщиной в лохматой шкуре.

Я смотрю, как коляска скрывается за углом. Последними исчезают тощие ноги миссис Джексон в туфлях-лодочках, и, если я сдвинусь влево, к трещине в раме, я снова их увижу. Но я стою на месте и лижу стекло, запотевшее от моего дыхания, чтобы был виден пригорок, на котором находится букмекерская контора, и, как мне велено, жду отца.

Когда в заднюю дверь проскользнула мамина подружка Ева, я думала, она там так и останется. Но она пошла вслед за нами наверх. Встала в своей шубе из оцелота, скрестив на груди руки. А меня мама отправила к окну.

Прочти три раза «Отче наш» и, если он не появится, спускайся, сказала она.[1] Ева засмеялась

---

[1] Примечания: 1

В переводе соблюдено авторское оформление прямой речи (прим. ред.).

и подалась вперед, махнув перчаткой, которую стянула с руки еще при входе.

Мэри, думаешь, это ничего? — спросила она, постукивая каблуками по полу.

Да он когда еще вернется, ответила мама, уводя ее обратно вниз подальше от матрацев и едва уловимого запаха мочи.

Папа не любит, когда приходит Ева. Он говорит, она слишком много пьет. А мама говорит, что Ева — единственная оставшаяся у нее подруга. Когда папа уходит в букмекерскую контору, они сидят внизу, разговаривают и слишком много пьют. Иногда я слышу их смех. Однажды Ева зашла в мою комнату, и я ужасно испугалась, потому что у нас в доме просто нет места для кого-нибудь еще.

Эта спальня моя, Люки, Фрэн и мамы. Мы спим здесь вчетвером, а в комнате напротив живут две мои другие сестры, Селеста и Роза. Я их почти не знаю. Они повесили на свою дверь записку. Мне известно, что там написано, хотя я и не умею читать. «Не входить! Это и ТЕБЯ касается!» Наверное, это про меня. И, кажется, они не шутят.

Мы — это Селеста, Розария, Франческа, Люка и Долорес. Я младшая, и мое имя, как имена Розы и Фрэн, сократили. Меня все зовут Дол. Это чтобы мама могла на одном дыхании позвать всех

нас завтракать. Есть еще одна сестра, Марина, которая родилась после Селесты, но она уже не здесь, что вообще-то к лучшему, потому что для нее места не осталось.

Дальняя спальня папина. Ее прозвали Клетушкой, хотя никаких клеток там нет, во всяком случае, я их не видела. Клетушка всегда открыта. То ли он хочет показать, что на самом деле там не живет, то ли ему там тесно, то ли дает нам знать, что все еще существует, доставая по ночам своим храпом. Одна я в Клетушку не хожу, но иногда стою у двери.

В нашей спальне кругом кровати. Как в приюте или больнице. Есть даже старенькая раскладушка. Она стоит без дела у дальней стены и словно ждет, что кто-то из детей ее займет. Я сплю на большой кровати с мамой и Люкой. Мы лежим в фланелевых пижамах по обе стороны от мамы. Мне никогда и в голову не приходит, что мы занимаем место отца.

У Фрэн свой узенький диванчик в углу. Это не потому, что Фрэн не хочет спать с нами, просто она все время мочится в постель. И я иногда тоже, и Люка. Определить, кто виноват, легко. Цветастый матрац весь в пятнах. Мама не понимает, почему мы, девочки трех, шести и восьми лет

от роду, до сих пор писаемся по ночам, а мы не можем ей объяснить.

«Отче наш, иже еси на небесех…» Пока что я вроде прочла только два раза, и то только до «хлеба насущного», поэтому останавливаюсь и смотрю в окно. На пригорке, кажется, мелькнула его тень. Но когда я понимаю, что это всего лишь собака, мне становится смешно.

В комнате помещается еще только сундук, и он тоже в некотором смысле кровать. Мама хранит в нем старую сумочку, набитую фотографиями людей, которых я не знаю. Они то женятся, то стоят на крыльце дома, и на всю жизнь у меня в голове эти две картинки соединились в одну. Есть и другие снимки — меня и всех остальных, черно-белые, потрескавшиеся и выцветшие, слипшиеся друг с другом. Они лежат в потертой косметичке, в той же сумочке, что живет в сундуке.

Когда я только родилась, я в этом сундуке спала. Мама мне рассказывала, как заворачивала меня в шали и прятала от отца.

Он бы тебя придушил, говорила она без злобы, но с некоторой гордостью, словно я приблудный котенок, которого она приютила.

Я представляю себе младенца в сундуке и крадущегося в спальню папу, похожего на злодея

из детской сказки. Он высоко задирает ноги в огромных кованых башмаках и ступает осторожно, чтобы его не сразу заметили. В руках зажата подушка, он сосредоточенно принюхивается.

Разве он меня не услышал бы? — спрашиваю я, и мама улыбается.

Так я же крышку закрывала, а ты лежала тихонечко, как мышка.

Доносящиеся снизу мамин смех и звяканье бутылки о стакан напоминают мне, что я в дозоре. А он уже идет размашистым шагом по улице, он уже почти у дома, и я бегу к маме и шепчу ей на ухо, что он близко. Ева хватает со стула шубку, сует в карман бутылку рома и спешит к задней двери. Поднимает засов и выходит. На улице морозно. Мама срывает почерневшую веточку петрушки, что растет в горшке у крыльца, и запихивает ее в рот.

Иди наверх, Дол, говорит она мне. Пойди, сложи картинку из кубиков. Мне нельзя путаться у отца под ногами.

* * *

Тогда мне еще не исполнилось и четырех. Дом до сих пор на месте. И теперь я стою здесь, у окна той самой нашей спальни. На подоконнике тол-

стый слой пыли. Мама не допустила бы такого никогда.

Джексоны давно съехали, перебрались в другой район, он называется Пентуин-Фарм. Так написано на автобусе, который туда ходит. Их дом сейчас пустует. Одно окно на втором этаже зашито досками, другое зияет чернотой, и потемневший осколок стекла торчит из рамы, как сломанная кость. Похоже, камнем кинули. Остальные дома на улице заколочены одинаковыми свинцово-серыми щитами, и на них что-то нацарапано кирпичом. Я не знаю никого из тех, кто еще здесь живет. И у тротуара ни одной машины.

Я стою у своего окна. Я последняя. Всех остальных уже нет. И сестер тоже. Но я жду их, чтобы разыграть сцену возвращения.

Один

На фаворита шесть к четырем, на остальных шесть к одному!

Телевизор и отец, оба на полу в гостиной, пытаются друг друга перекричать.

Ну, давай же, детка! — вопит он, стуча по колену кулаком. Зажав в зубах квиток от букмекера, отец мечется по комнате и бросается непонятными словами — Янки Пиггот, фотофиниш. Я не вижу в них смысла, по-моему, отец вообще не силен в английском.

Господи Иисусе, цедит он сквозь зубы.

Скачки заканчиваются, он сидит с пунцовым лицом, уткнувшись носом в экран, и смотрит на точки и линии так, словно ждет, что с экрана в комнату вдруг скакнет Барнес-Бой. Отец выуживает изо рта ошметки розовой бумаги, рвет в клочки квиток, швыряет на ковер. А потом набрасывается на «Спортивную жизнь», изничтожает ее. Я понимаю, что в такие моменты он запросто может изорвать в клочья и меня, поэтому тихонько заползаю под кушетку и сижу там, пока он не надевает куртку и не уходит, хлопнув дверью.

Отец так заводится не только из-за скачек. Он

готов делать ставки на все, что движется. Игра в бинго и на автоматах, пари относительно снега на Рождество его не волнуют, но лошади, собаки, очко и покер — страсть всей жизни. Отец обожает ловить удачу. Вот она, рулетка, завертелась! Красное — черное, красное — черное. Была бы возможность делать ставки и после старта, он бы все равно менял свое решение у каждого препятствия. Мама говорит, отец всегда был таким. Да и она сама, в белом платье с кружевами, поставила на него в церкви Святого Марка в ноябре 1948 года.

* * *

Вот что происходит перед самым моим рождением, в тысяча девятьсот шестидесятом. У моих родителей, Фрэнка и Мэри, пять очаровательных дочерей и половина кафе у Кардиффского порта. Второй половиной владеет старинный папин друг Сальваторе Капаноне. Красная дверь почти не закрывается — то и дело приходят сошедшие на берег моряки, чтобы перекусить и найти девушку. Наша семья живет в двух комнатах над кафе. Одна, длинная, разделена на спальню и столовую кисейной занавеской с картинками из жизни французских аристократов. Другая,

совсем крохотная комнатушка без окон, называется Ямой, потому что в нее нужно спускаться по ступенькам. В Яме обитают мои сестры. Отцу пришлось загородить дверной проем калиточкой, чтобы двухлетняя Люка не лазила по ступеням, а то она вечно с них падает. И теперь, стоит маме отвернуться, Люка закидывает пухлую ножку на калиточку и падает уже оттуда.

Есть и третья комната, пролетом выше. Там только квадратный стол, покрытый вытертым зеленым сукном, и четыре пластиковых стула, один на другом. Окошко в самом углу всегда плотно зашторено. Мама туда не поднимается — это не ее владения.

Кухни нет. Каждое утро мама тащится вниз, в кафе, за завтраком для моих сестер. Усевшись в ряд на кушетке, они едят и смотрят по телевизору, притулившемуся в углу, викторину «Тест Кард», а мама перебирает выстиранное белье, делает вид, что наводит порядок. Старый матросский сундук отца — единственное место, где можно что-то хранить, и он битком забит детскими одежками. Скоро их предстоит носить мне. Маме это известно, но она не торопится приводить их в порядок, потому что отец пока что ничего не знает. К тому же она убеждена, что на сей раз это уж

точно мальчик, и множество платков, шапочек и вязаных пальтишек будут ни к чему, поскольку в большинстве своем они розовые.

Селеста — ей одиннадцать, но порой она ведет себя так, словно ей под сорок, — помогает собирать Марину и Розу в школу. В песочного цвета вязаных шлемах сестры похожи на две репки, и Селеста не хочет показываться на людях с ними вместе. Сама-то Селеста носит соломенную шляпку с шоколадно-коричневой лентой, купленную ей для посещения школы при монастыре Пресвятой Богородицы. Ее уроки начнутся со следующей четверти, и к тому времени шляпка будет выглядеть довольно потрепанной. Но пока что она с ней не расстается, чуть ли не спит в ней. Фрэн только-только пошла в школу. Она рисует сердитые картинки с бушующими пожарами, причем рисует сразу тремя карандашами. Мама не обращает на это внимания: ей хватает забот с Люкой, да и я на подходе.

Когда старшие дети уходят, мама пристраивает Люку на бедро и спускается в кафе. Она отпирает парадную дверь, снимает толстую цепочку, которая глухо стукается о дерево, и идет по узкому проходу между столиками. В самом углу, куда солнечный свет не добирается, две кабинки

и длинная стойка. У ее латунного изгиба притулились давно не мытая стопка и полупустая бутылка голландского «Адвокаата». Запах здесь сладковатый. К граммофону в углу прислонена пластинка Пегги Ли без конверта — Сальваторе, видно, не спалось.

Мама сажает Люку в высокий стульчик, и та, оказавшись одна, без тепла материнского тела, начинает вопить. И не умолкает, пока не получит намазанного чем-нибудь липким хлеба или пока отец не вернется с рынка и не возьмет ее на руки. Люка не понимает, почему ей не разрешают побегать. Раньше, когда мама уходила за Фрэн или прочесывать букмекерские конторы в поисках отца, Сальваторе ее выпускал.

Фрэнки с Сальваторе — странная парочка. Отец — стройный и подтянутый, ладно скроенный мужчина в ладно скроенном костюме. А его партнер — большой и мягкий, с пухлыми белыми руками и сияющими глазами. Каждое утро Сальваторе кладет в карман фартука чистый платок — утирать слезы, которые донимают его целый день. Он винит во всем кухонный жар, а не бездетную жену и не жалостливое пение Марио Ланца. Когда Сальваторе готовит, музыка не смолкает. Дино и Самми, бесконечный Синатра

и обожаемый Луис Прим, напоминающий ему о теперь уже дальних землях. Пластинки стоят на сушке у стойки, а тарелки засунуты под стойку. Сальваторе проводит под музыку дни и ночи, он вычищает от муки пластинку Джулии Лондон своим платком. А потом им же промокает глаза.

В кафе существует негласное разделение труда. Сальваторе — хороший повар, а для Фрэнки кухонный жар страшнее адского пламени. Так что пока Сальваторе режет себе пальцы, обжигает о раскаленную плиту локти, поет и плачет, Фрэнки надевает костюм и занимается наверху денежными вопросами. Но Сальваторе это устраивает, ему нравится общаться с людьми.

* * *

В надежде привлечь посетителей, Сальваторе поначалу делал рагу, пек хлеб и миндальные пирожные. Он держал красную дверь нараспашку, подпирая ее высоким табуретом, и гнал кухонным полотенцем ароматы свежей выпечки на улицу. Он аккуратными буквами написал «Отменная еда» и укрепил вывеску снаружи над входом. Но соседа-парикмахера раздражала слишком громкая музыка, картонная реклама быстро размокла от дождя, а табурет был водру-

жен обратно на свое место в баре. На непроданной еде жирели уличные голуби.

Да не бери в голову, сказала мама. Для всего требуется время.

А теперь он готовит для моряков, которым нужна яичница, жареная картошка и бекон с белой булкой. И в кафе полно народу. Моряки приводят девушек, а уж те привлекают посетителей. Сальваторе все жарит на огромной черной сковороде. Жидкие волосы липнут к взмокшему лбу, а зачесанные прядки в течение дня повисают клоками над левым ухом. Он строит из себя вдовца, чтобы «ночные бабочки» почаще его жалели. На самом деле он женат на Карлотте, а она женщина порядочная и даже и не думает появляться в «Порте захода» — так называется наше кафе. Оно же — «Приют греха», как прозвала его Карлотта.

Сальваторе любит их всех — и маму, и отца, и моих сестер. Он стал членом нашей семьи. И меня, когда я появлюсь на свет, тоже полюбит. А пока что ему приходится довольствоваться Люкой, которая, стоит маме отвернуться, начинает призывно визжать со своего стульчика. Сальваторе наблюдает издали, как Люка тянет кверху ладошки: умоляет, чтобы ее взяли на руки. Он бы ее освободил, да не осмеливается. Как-то он

выпустил Люку, она потекла быстрым ручейком к двери и стукнулась головой о край стола. Сестра уставилась на обидчика в немом изумлении, а на лбу вспухла огромная шишка. Два следующих дня она молчала, мама даже испугалась, не повредила ли она чего, потому что Люка никогда не вела себя так тихо.

Теперь, когда маме надо уйти, она сажает Люку в Яму и дает ей мягкие игрушки, чтобы та поиграла хоть пять минут: за это время мама рассчитывает управиться. Люка запускает медвежат и зайчиков в стену и воет сиреной.

Мама, когда ищет отца, становится очень грубой. Ей уже не до приличий.

Фрэнки видели? А Лена Букмекера? В «Бьюте» сидят? Понятненько.

Она находит мужа или у игровых автоматов, или в кофейне, или в задней комнатушке паба. И тогда уже не скупится на выражения. Отец пытается ее урезонить.

Мэри, это же мой бизнес. Не суйся, а? Остальные мужчины опускают глаза и прячут усмешку. А когда отец возвращается, мама показывает ему вспухший лоб Люки.

Это все на твоей совести, ясно тебе?

Фрэнки то ли стыдно, то ли надоело проигры-

вать, но он решает начать новую жизнь. Отец прекращает играть, с этим покончено раз и навсегда. Однако мама вынуждена рассказать ему обо мне, ведь на седьмом месяце такое скрывать довольно трудно. Фрэнки берет деньги, скопленные за то время, что он перестал играть, и открывает в комнате над кафе карточную школу. Он выигрывает и выигрывает. И я становлюсь воплощением удачи.

Мы назовем его Фортуно, говорит он, поглаживая мамин живот так нежно, словно она вынашивает золотое яичко. У мамы на этот счет свои соображения.

Все четыре стула в комнате наверху заняты. Воняет сигарным дымом, луком и яичницей. Отец поставил на кон все. Когда я уже воплю в родилке, Фрэнки решается на ва-банк. Мама снова и снова твердит в муках одну единственную молитву.

Господи, пусть это будет мальчик.

Вытащив меня, акушерка решается скрыть правду. Меня отправляют на весы, быстренько заворачивают в одеяло и выносят. Дверь в палату закрывают.

Если спросит, скажите, что мальчик, велит акушерка сестре.

Жена Сальваторе Карлотта сидит в коридоре,

водрузив огромную черную сумку на свой безбрежный живот, и ждет. Поймав только обрывок фразы — «скажите, что мальчик», — она тут же звонит в кафе.

Сальваторе стоит наверху, в дверном проеме, и наблюдает за игрой через бисерную занавесь. Бисерины струятся по его плечам, как Богородицыны слезы. Телефона он не слышит, поскольку весь сосредоточен на игре, в которой ему участвовать не позволено. Его взгляд устремлен на бриллиантиновый нимб вокруг отцовской головы. Правая рука Сальваторе замерла у сердца, в левой зажата лопаточка, и с нее на красный линолеум медленно падают капли. Он должен быть внизу, готовить тощим «ночным бабочкам» что-нибудь жирное, но Сальваторе не может и думать об яичнице с беконом, когда на кон поставлено дело его жизни.

Сальваторе нравится его партнер Фрэнки, хоть тот ленив, не очень-то надежен и просто обожает «ночных бабочек». Юные дивы пристраиваются на высоких табуретах у стойки, их головки с пышным начесом покачиваются в такт льющейся из патефона музыке. Налаченные до блеска, они пахнут чистотой и свежестью. Те, кто постарше, улыбаются, то и дело какая-нибудь из них

вскидывает руку, демонстрируя новенький бриллиант. Или же сидят молча. Водят, растягивая последнюю порцию рома, влажным пальчиком по краешку стакана.

Рита, София, Джина. Сальваторе повторяет нараспев имена девушек. На самом деле их зовут Айрин, Лиззи и Пэт. Они собираются вокруг зеленых металлических пепельниц, нажимают унизанными кольцами ручками на кнопки и смотрят, как окурки плавно ссыпаются внутрь, в спрятанный внизу поддон. Когда они уходят, блестящие виниловые сиденья еще некоторое время хранят отпечатки их усталых бедер. Они никогда не говорят спасибо и никогда не оборачиваются у двери. Сальваторе им прощает все. Он вытирает о фартук руки и поет всю ночь напролет, а Фрэнки у него над головой продолжает играть.

Сегодня вечером Сальваторе хочет смотреть. За столом собрались отец, великан Мартино, Илья Поляк и коварный Джо Медора. Мужчины заняты.

Сал… телефон… говорит Джо, не подымая головы.

Сальваторе нехотя скатывается по лестнице.

На Джо Медоре широкополая фетровая шляпа, дорогой костюм и шелковый шарф. Он похож

на закоренелого негодяя и старается вести себя соответственно, закатывая сигару в угол безгубого рта и смотря куда-то поверх своих карт. Джо видел все фильмы; каждый жест просчитан. Он терпеливо ждет.

Ход отца. Валет червей, пятерка треф, четверка — отец сморгнул — бубен.

Мальчик! кричит Сальваторе, взлетая по лестнице. *Бамбино*, Фрэнки!

И отец, которого друзья зовут Фрэнки Бамбина, бедняга Фрэнк, у которого столько дочерей, на радостях блефует и проигрывает Джо Медоре кафе, спрятанную под половицей обувную коробку с большими деньгами, рубиновое кольцо своего отца и белое кружевное платье мамы.

Зато теперь у меня есть сын, думает он, кидая кольцо на вытертое зеленое сукно.

* * *

Отец с застывшей на лице улыбкой стоит над моей колыбелькой, сжимая правый кулак и потирая левой рукой выпуклость кармана. Его терзают и потеря семейной реликвии, и нелепость проигрыша.

Далеко в конце палаты открывается дверь, и в проеме появляется лицо Сальваторе. Тут же рядом

возникает и лицо Карлотты. Несколько мгновений они обшаривают глазами бесконечные ряды кроватей и колыбелек. Мэри! Фрэнки! — кричит Карлотта и бросается к моим родителям. Сальваторе машет им рукой, но сначала здоровается с другими матерями.

Чудесный ребенок, миссис!

Прелесть какая! Это мальчик или девочка?

Близнецы? Как вам повезло!

Сальваторе мало всех детей в палате, да ему не хватит и всех детей мира. Почтительно сложив руки за спиной, он склоняется над каждым, сияя улыбкой.

Карлотта растекается на стуле рядом с кроватью мамы и роется в сумке. Она ведет светскую беседу, не осмеливаясь упоминать ни обо мне, ни о кафе, ни о будущем. Отец ковыряет в зубах обломком спички, который он обнаружил в кармане брюк, шумно втягивает воздух и не говорит ничего. На меня никто не смотрит. Наконец к изножью маминой кровати приближается Сальваторе и широко раскрывает руки, чтобы обнять отца. Мужчины прижимаются друг к другу и сдавленно покряхтывают. Карлотта извлекает из сумки помятую красную коробочку, поднимает крышку и угощает маму шоколадными

конфетами.

Мэри, съешь хоть одну. Это же твои любимые.

Мэри отрешенно молчит. Опять девочка, еще одна девочка. Она мысленно пытается подобрать мне имя. Список имен мальчиков, которых ей не суждено произвести на свет, исчерпан, а певучие девичьи имена надоели — хватит и тех, что есть. Из унылого марева всплывает имя Долорес.

Сальваторе кладет ладонь на мамину руку и заглядывает в мою колыбель. Розовая кофточка туго застегнута у горла; от нее несет нафталином. От лучшего костюма Сальваторе (который он обычно надевает на похороны) пахнет точно так же. Он нежно целует меня в лоб и берет на руки, чтобы рассмотреть получше.

Ты только погляди, Мэри, какая красавица, пытается утешить он маму.

Мама лежит, уставившись на облупленную батарею, и желает только одного — чтобы все мы оставили ее в покое. Фрэнки тоже надоели охи и ахи. Он упирается ладонью в грудь Сальваторе и подталкивает его к выходу с такой силой, что Сальваторе чувствует, как пуговицы рубашки впиваются в тело.

У Мэри шок, говорит им отец. Ей лучше побыть одной.

Это ничто по сравнению с тем потрясением, что поджидает ее в скором времени, когда она узнает, что осталась без крыши над головой, а в ее свадебном платье теперь щеголяет ослепительная блондинка из Лланелли.

* * *

Когда мне исполняется неделя от роду, все меняется. Родители переезжают в старый покосившийся дом в конце грязной извилистой улочки. В другом ее конце тупик — высокая стена с колючей проволокой. Нашим новым домом и старым кафе владеет Джо Медора. Арендная плата меняется по любому его капризу: когда Джо ставит и проигрывает, она взлетает вверх. Но может подняться и когда ему фартит.

Отца помешают в Клетушку — это его камера. Селеста, Марина и Роза занимают дальнюю спальню. Роза сидит у окна, выходящего на дорогу, и плюет на головы прохожих, Марина скачет на кровати и рвет обои, а Селеста, заткнув уши, читает «Справочник распространенных болезней» и уверяет себя в том, что умирает.

Передняя спальня становится Нашей Комнатой — маминой, Фрэн, Люки и моей. У Фрэн кровать в углу, а Люка обладает исключительными пра-

вами на маму. Маме же приходится поместить меня в сундук. Убедившись в том, что я в состоянии пережить ночь, она позволяет мне спать в кровати.

В эти трудные времена на помощь призывается Карлотта — якобы для присмотра за детьми. На самом деле она здесь для того, чтобы контролировать маму: та должна быть Хорошей Женой, которая не бросит в тяжкую минуту мужа и не убежит, скажем, с угольщиком. Это оказалось в каком-то смысле предвидением. Однако все случится иначе, не так, как представляет себе Карлотта.

Сальваторе пока что по-прежнему работает в кафе, которое стало теперь клубом «Лунный свет», о чем извещает нервно мигающая неоновая вывеска, а друга своего Фрэнки он предоставляет самому себе. Но о нас он думает, беспокоится обо мне и каждый вечер спрашивает у Карлотты отчета.

Набирается силенок, говорит Карлотта и жестом бывалого рыболова разводит руки в стороны, показывая, как я выросла.

Но Сальваторе это не вполне убеждает, и раз в неделю он посылает с Карлоттой еду, украденную им в свою смену из «Лунного света». Сальваторе

чувствует себя обязанным: ведь как-никак он остался в деле партнером. Правда, имея дело с Джо Медорой, он ощущает себя скорее рабом.

Пока мама лежит в постели, уставившись в потолок, Карлотта в крохотной кухоньке парит и варит. Она делает макаронные запеканки с подгоревшими краями, печет тяжелые буханки домашнего хлеба. Вся ее стряпня острая и жесткая. Даже не верится, что это дело рук пухлой женщины с тихим напевным голосом. Мама мало о чем думает, но слушать слушает. Из кухни доносится рыхлый кашель. Мама представляет, как Карлотта погружает в кастрюлю свои щупальца, проверяя, достаточно ли солон окорок.

Все это происходит незадолго до того, как я обгорела.

Два

Силу тяжести они отрицают.

Царь Иудеи, Навуходоносор, вышел на угол купить папиросы…

Руки Селесты выписывают в воздухе узоры: теннисные мячики взмывают с ладоней, летят, ударяются о кирпичную стену; рука—кирпич, рука—кирпич. Она сосредоточена. Если бы Селеста отвела глаза от сплетаемого ей кружева, то увидела бы, что Роза зависла на турнике. Ее старенькие туфли уперлись в стену, толстые ноги широко расставлены, черные волосы, будто пучок морских водорослей, свисают из-под юбки. Маринин взгляд перескакивает от Розы к Селесте и обратно, ловя каждое движение. Она пока что не пробует ни того, ни другого: сначала ей нужно все изучить.

Сквозь шерстяную шотландку юбки Роза видит мир вверх ногами. С неба спускаются дома, по серому облаку мостовой беспечно трусит собачонка.

Посмотри на меня, Селеста! Ну, посмотри!

Селеста вертится, хлопает в ладоши, ловит мячи, которые застывают в воздухе ровно на-

столько, чтобы она успела крутануться влево. На Розу и ее раскрасневшееся лицо Селеста внимания не обращает.

Роза спрыгивает на землю, косится на вмятины на ладонях, плюет на руки и вытирает их об юбку. Она пробирается вдоль стены, чувствуя телом каждый удар мяча о кирпич, и замирает на целую минуту, напряженно выжидая. Потом внезапно ловит мяч в полете, нарушая тем самым ритм ладонь — воздух — стена. Мяч летит в канаву. Селеста не теряет самообладания. Она поднимает мячик и снова принимается играть.

Ты за-ра-за и за-ну-да, говорит она в такт ударам.

О Люке они и не вспоминают: она привязана вожжами к коляске. Вожжи синие, а спереди забавный барашек, замусоленный Люкиными слюнями. По обеим сторонам коляски металлические крючки, вдетые в ржавые кольца. Люка цепляется за них и вопит что было мочи, размазывая по лицу слезы. Следить за ней велено Фрэн, но та решила прошвырнуться. В кармане у нее коробок «Слава Англии», а в нем три спички с розовыми головками. Фрэн идет к Площади.

Мы живем в доме номер два по Ходжес-роу. Между домами девять и одиннадцать — проулок,

ведущий к жалкому кусочку асфальта, носящему имя Лауден-плейс, но все его называют Площадью. Фрэн частенько туда ходит, пробирается проулком до открытого пространства. Лауден-плейс — пустой прямоугольник. Раньше там были и качели, и доска-качалка, теперь же осталась только железная лесенка и клочок вытоптанной травы. Фрэн исследует местность. Это куда лучше, чем утирать сопливый нос Люки, лучше, чем сидеть на бордюре и смотреть, как Селеста выделывает свои немыслимые пируэты, лучше, чем ждать, когда Роза найдет повод ее стукнуть.

А здесь полно сокровищ, по самому краю, где кончается пожухлая трава и начинается гравий. Фрэн пристально разглядывает землю, осторожно обходя собачье дерьмо, разбитые бутылки, мотки ржавой проволоки, трепещущий на ветру бумажный мусор. На асфальте блестят осколки стекла — зеленые, коричнево-бурые, прозрачные, как ледышки. Она выбирает самые лучшие и аккуратно складывает их в карман школьного сарафана. Сегодня у Фрэн есть спички. Она зажигает одну и подносит к лицу. В нос ударяет запах горящего фосфора. Присев на корточки, Фрэн чиркает другой. Фрэн обожает этот сладковатый

запах. Она лижет наждачный бок коробка, ловит вкус убежавшего пламени.

У себя под кроватью Фрэн хранит красную продолговатую коробку. Раньше там были шоколадные конфеты, и если ее приоткрыть, то запахнет Рождеством. Теперь в пластмассовых формочках лежат ее драгоценности с Площади: зазубренные обломки сапфира, тусклые куски изумруда и один-единственный стеклянный шарик с бирюзовым глазком. В ознаменование моего появления на свет она завела еще одну тайную коллекцию в коробке из-под сигар, которую ей отдал отец. На сей раз это не стекляшки, а окурки. Фрэн собирает их на тротуаре у дома, когда никто не видит. С фильтром и без, из серой папиросной бумаги и белоснежные ментоловые. Одни раздавлены всмятку каблуком, другие идеально ровные, с ободком губной помады по краю. Прежде чем спрятать свои сокровища, Фрэн с нежностью обнюхивает каждое из них.

Я в доме, вместе с мамой, мне всего месяц, я слабенькая, меня надо держать в тепле. Мама приносит из спальни сундук и кладет меня в него, укутывает в пропахшие нафталином одеяла. Потом притаскивает из сарая в кухню ведро с углем, подталкивает его коленом к очагу и оста-

навливается перевести дух. Мама склоняется к каминной решетке, ворошит обгорелые чурки. Бог знает, когда здесь разводили огонь: пепел на поленьях в каких-то волосах и хлопьях пыли. Аккуратно скручивая жгутики из газеты, она думает: сегодня должен прийти за квартплатой человек от Джо, щепки для растопки отсырели, наверняка дымоход давно не чистили. Сундук, когда она тянет его на себя, к очагу, оставляет на плитке царапины. Два тонких шрама, прямые, как трамвайные рельсы, останутся навсегда, напоминая о том, что она сделала. Мама ставит сундук под углом к огню: языки пламени будут меня развлекать.

Она поворачивается к столу, режет буханку и напевает высоким пронзительным голосом:

Пойми, глупышка, ты не победишь,

Открой глаза, за ум возьмись.

А наверху отец, снимая галстук с перекладины в шкафу и глядя на свое отражение в зеркале, тоже напевает, вернее, насвистывает. Выглядит он Счастливчиком. Сегодня Фрэнки выбрал черный галстук с золотой отстрочкой. Он перебирает пальцами гладкую прохладную ткань, протискивает голову в петлю, затягивает на шее узел

и отворачивает тугой воротник белой рубашки. Задерживается у зеркала, шире открывает дверь, чтобы разглядеть себя получше. Не зеркало, а сущая досада — в пятнах, с рыжими разводами. Даже с близкого расстояния ничего толком не видно. Фрэнки слышит, как мама кричит с порога:

Селеста! Дети! Обедать!

Отец надевает пиджак, вытягивает сначала левую руку, потом правую — заворачивает на обшлага манжеты. Пара золотых запонок с вычеканенным на них восходящим солнцем — единственная оставшаяся у него драгоценность. Он берет их с туалетного столика, секунду держит на ладони и кладет обратно. Настолько уж удачливым он себя не ощущает. Снимает с набалдашника спинки кровати шляпу, тихонько спускается по лестнице, маме в глаза старается не глядеть. Идет к зеркалу в гостиной, а она снует между детьми.

Сколько раз тебе говорить, руки вымой! Фрэнки, ты сегодня увидишь Карлотту? А ну, положи на место! Ешь давай. Фрэнки! Фрэнки, повторяет одними губами отец, шагнув к зеркалу. Фрэнки, повторяет он, поправляя тугой узел галстука.

Ты меня слышишь? — кричит мама.

Он уходит, говорит Селеста, широко шагая через кухню к двери в гостиную, и смотрит на отца в упор. У них одинаковый, твердый как сталь взгляд черных глаз, одинаково упрямые квадратные подбородки. Селеста держит поднос с сандвичами высоко над головой, чтобы ни Роза, ни Марина не дотянулись. Отец, заметив ее в зеркале, заговорщицки усмехается — ей одной. Она усмехается в ответ и возвращается в кухню.

Сначала руки вымойте, орет Селеста, отвешивая подзатыльники Розе и Марине, которые пытаются ухватить по куску. И опять: Мам, скажи, чтобы они руки вымыли.

Чтобы руки вымыли, машинально повторяет мама. В кухне становится слишком жарко — и огонь горит, и от мамы так и веет дурным настроением. Она распахивает заднюю дверь, приставляет к ней стул, и в дом врывается поток свежего ветра. Пламя в очаге пляшет на сквозняке. Наверху громко хлопает дверь.

Мама насыпает в плошку что-то серое для Люки, льет молоко, размешивает. Ее злость стекает по ложке прямо в Люкину еду. Меня кормят грудью — я злость получаю из другого источника. Мама сердится и на себя: ей необходимо, чтобы пришла Карлотта с очередной посылкой от Саль-

ваторе, где будет кукурузный пирог с мясом или, может, кусочек жареной курицы. Она швыряет слова в любого, кто их поймает.

Вот уж не думала, что когда-нибудь захочу снова увидеть эту жирную харю, говорит она про Карлотту и усаживает Люку в ее стульчик. Селеста смеется — она считает, что так про собственного ребенка говорить нельзя, даже если это правда.

А где Фрэн? — спрашивает, спохватившись, мама.

Отец перемещается от зеркала к буфету и, затаив дыхание, выдвигает ящик. Он не сводит глаз с дверного проема, следит за тенями на стене кухни, а рука шарит внутри: счета, расписки, вязание. Все обещания позабыты, Фрэнки думает только о Скачках. Пальцы нащупывают кончики спиц, добираются до прохладной поверхности Жестянки из-под печенья. Рука скользит под крышку, и… вот они, жирные на ощупь банкноты. Фрэнки мусолит края — немного, но все-таки, — быстро вытаскивает их и засовывает в карман. Каких-то пять секунд — и все в порядке. Облизнув губы горячим языком, он задвигает ящик и снова принимается насвистывать.

Фрэнки, ты меня слышишь? Ты Карлотту уви-

дишь?

В дверях появляется мама, стоит, размахивая ложкой.

А куда это, собственно, ты собрался?

Она заметила и лучший костюм, и шляпу.

Фрэнк!

В голосе укор.

Пойду прогуляюсь, отвечает он.

* * *

На Бьют-стрит одиннадцать кафе, и ни одно из них отцу не принадлежит. Больше не принадлежит — с момента моего рождения. Родители спорят, чья в этом вина. Она обвиняет его, он меня, а я пока что никого обвинять не могу. Но дайте срок, и все счета я предъявлю Джо Медоре.

Только вот Джо Медоре много чего принадлежит. Почти все в округе: на одной улице — два типовых дома-близнеца; разумеется, наш дом; а еще — четыре кафе на Бьют-стрит, из которых последнее приобретение — «Лунный свет».

Мимо него мама вынуждена ходить каждый день. Она нашла себе работу в пекарне рядом со складом пиломатериалов. Это даже не пекарня, а скорее фабрика, где делают сотнями пухлые белые булки. Мама вытаскивает их из печи ло-

паткой на длинной металлической ручке. У нее всегда ночная смена. Всякий раз, отправляясь в пекарню или возвращаясь на рассвете домой, она хочешь не хочешь проходит мимо «Лунного света», видит светящиеся огни, людей в зале. Бывает, вдруг пахнет горячей выпечкой, и тогда маме до смерти хочется миндального пирожного Сальваторе. До нее доносится и музыка — одинокий голос на излете ночи, но чаще всего она слышит звон монет, перекатывающихся в кармане Джо Медоры. Проходя мимо окон, она бормочет себе под нос проклятья.

Отец идет сейчас той же дорогой, сворачивает с улицы в проулок, к Площади. Сквозь дыру в заборе Фрэн узнает его силуэт, склоненную набок голову, подставленную под солнце, и прячется. Поначалу Фрэн решает, что он пришел отвести ее домой на обед, но тут же замечает, что сегодня он какой-то другой. В черных волосах серебрится седина, он похлопывает по колену шляпой, зажатой в руке, и заливисто свистит. Она наблюдает за ним, словно это кто-то посторонний, так, случайный прохожий. Фрэн пригибается, пробирается по грязи вдоль забора и укрывается за кустом.

Отец не видит Фрэн. Взгляд его устремлен вдаль. Он представляет изящный круп и сильные

ноги лошади. Вот на кого я поставлю. Один-единственный разок, и все. Придворный Шут. Два к тридцати.

Фрэнки идет мимо кафе на Бьют-стрит, то и дело кивая знакомым или вскидывая в приветствии руку со шляпой. Это Тропа Фрэнки. Большинством ресторанов и кафе здесь владеют его друзья-приятели — моряки с грузовых кораблей, которые решили отдохнуть от моря, да так здесь и застряли. Отец тоже здесь застрял, на время. Однако, в отличие от других мальтийцев, в городе жить не стал — не может он без соленого запаха порта. И когда говорит о своем корабле, который еще придет, имеет в виду настоящую удачу, выигрыш сто к одному, верняк. С замиранием сердца он предвкушает тот день, когда сможет исчезнуть отсюда раз и навсегда, прихватив с собой мешок денег.

Но сегодня еще не тот день. Сегодня — день, когда я обгорела.

* * *

Она была абсолютно уверена. На сто процентов. Но деньги пропали. Мама вытаскивает ящик, он падает из рук на пол, оттуда вываливаются какие-то бумаги, журналы, медный колокольчик,

сломанная рамка, заброшенное вязание — что-то небесно-голубое. Встав на колени, она роется в счетах, а рядом стоит открытая Жестянка. Может, она их еще куда положила? Мама окидывает взглядом комнату: на каминной полке две фотографии в рамочках, черный отцовский гребень, а посредине — гипсовый фавн с ехидной ухмылкой. И рядом — оранжевая книжка квартирных квитанций, тощая и пустая.

Селеста, кричит она, судорожно шаря по полу, ты в буфет не лазила?

Селеста стоит с Люкой на руках над мамой, и лицо у нее испуганное. Она сажает Люку в кресло, опускается на корточки.

Нет. Это он. Опять.

Будто мама сама не знает. Селеста встает, вставляет в буфет пустой ящик, собирает бумаги, кладет их на место.

За ум возьмись… запевает неожиданно мама и горько смеется. Это пугает Селесту еще больше.

Мам, что же делать-то?

Мама отвечает не сразу. Она прислушивается, не стучат ли в дверь.

Ума не приложу, сообщает она потолку. Просто ума не приложу.

И Селесте:

Уведи детей, Сел. Нечего им здесь под ногами путаться.

Селеста снимает со спинки стула пальтишко Люки, опускается на колени, засовывает одну ручку в рукав, потом другую.

Пошли, говорит она Розе и Марине. Идем, поищем Фрэн.

Мама отодвигает стул от двери, садится. Мы обе глядим на оранжевые языки пламени. Она рассматривает раковину, квадратный стол, усыпанный хлебными крошками, газовую плиту. Духовка притягивает к себе: вот бы засунуть туда голову. Но вместо этого мама роняет голову на колени. Болит нога — она стукнулась о буфетный ящик, вывалившийся из рук. Ее глаза следят за расплывающимся по икре синяком.

* * *

Фрэнки проходит «Ресто» Домино, «Топ-кафе» Тони, Дом Моряка. Идет мимо парикмахерской, над которой полощется на ветру красно-белый тент. За ней — «Лунный свет», справа от входа — новая неоновая вывеска. Здесь пахнет свежей краской, а на красной двери теперь выведен силуэт женщины в обтягивающем платье и на высоченных каблуках. Фрэнки не сбивается с

шага, не поворачивает головы: он глядит строго вперед, на глянцевый квадрат тени под мостом. Как раз есть время выпить перед встречей с Леном Букмекером стаканчик газировки.

* * *

Мои сестры отправляются на поиски Фрэн. Солнце исчезло, его согнал с неба резкий ветер, и на его месте теперь жирная туча. Она проплывает над стеной в конце улицы, и остатки голубого неба заволакивает серым. Роза, которая тащится позади коляски, Селесты, Марины, несет в согнутой руке два Селестиных теннисных мячика. На углу она останавливается, смотрит вслед сестрам, свернувшим в проулок, и, выждав, кидается к стене дома номер девять.

Роза со всей силы швыряет сначала один мячик, потом другой: первый поймала, а второй не успела. Ударившись о кирпич, он бьется о дверь дома номер четыре и, отскочив, летит прямо в окно дома номер один. Там живут Джексоны. Мячик бесшумно катится по мостовой и бухается в сточную канаву. Роза стоит и ждет, зажав оставшийся мячик в кулаке. Ноги ее готовы бежать. И она бежит.

* * *

Лен Букмекер сидит в кафе спиной к окну: беспокоиться нечего, его никто не увидит, поскольку полгода назад окно разбили. Хозяин заколотил его куском фанеры. На стороне, обращенной к улице, он написал:

> БАР Мики
> *Работаем допоздна.*
> *Чай, кофе, прохладительные напитки.*

Прохладительный напиток Лена — если кто спросит — лимонад с газировкой. Мики добавил туда наперсток некой жидкости, которая может сойти за виски. На столе перед Леном высокий стакан с бледно-желтой отравой, в котором медленно оседает ядовитая пена. Он отодвигается в сторону — подальше от сквозняка, пробивающегося через неплотно прибитую фанеру. За спиной начинают дробно, как копыта, стучать капли дождя. Он лезет во внутренний карман за блокнотом.

Лен человек неприметный. Маленький, тоненький, как газетный лист, на гладком коричневом черепе жалкие остатки волос. Он кладет блокнот

на колени: каждая страничка аккуратно расчерчена; карандаш уверенно выводит ряды мелких цифр. Он пишет и левой рукой почесывает бородавки на щеке. На ней осталось только два пальца — средний и указательный. Удалось еще спасти большой. Некогда он и сам был игроком, но теперь нашел более безопасное занятие.

Никогда не играй против Синдиката, дружок, — это единственный совет Лена, который обычно сопровождается взмахом искалеченной руки.

Дверь кафе распахивается и тут же захлопывается.

Ленни, здорово! говорит отец и, поддернув штанины, усаживается рядом.

Фрэнки! Давненько не видались, отвечает Лен.

* * *

Мама стоит на крыльце, в руках у нее Жестянка без крышки — как будто распахнувшая в вопле рот. Сегодня квартплату собирает Мартино. Мэри показывает ему, что на этой неделе ей платить нечем. Они оба разглядывают блестящее дно; Мартино, словно извиняясь, опустил густые ресницы, мамино отражение в неровном жестяном зеркале — злое и холодное. Мама желает Фрэнки смерти. Там лежали не только деньги за квартиру

— было отложено и на счета, и на хозяйство. Это и взятое в долг, и ее зарплата — всё.

Мартино протягивает свои большие мягкие руки и хочет забрать коробку, но мама швыряет Жестянку, и она, ударившись, несколько мгновений барабанит по мостовой.

Пойдем в дом, Мэри, говорит он. Мы с ним поговорим. Может, он согласится подождать недельку, а?

А что ему еще остается? Пойди и скажи ему. Пусть потерпит.

С черного хода в распахнутую дверь врывается ветер, кружит по кухне. Одного дуновения достаточно, чтобы из очага выкатился уголек. Он падает на край половичка, и тот занимается: появляется струйка дыма, взметается язычок пламени, разгорается синим. Огонь колеблется на сквозняке, переливается, как глазок в стеклянном шарике Фрэн.

Тот же ветер добирается до гостиной, проскальзывает мимо мамы на крыльцо и захлопывает за ней дверь. Мама пятится и с удивлением обнаруживает ее за спиной. Чтобы удержать равновесие, мама складывает на груди руки.

Я остаюсь одна и смотрю. Голубое пламя то гаснет, то разгорается, то гаснет, то разгорается,

бежит по кромке половика, зажигая прядь за прядью. Яркий оранжевый клубок растет и ширится, жмется к полированному боку сундука. Это так красиво.

Мартино нагибается подобрать Жестянку, и над его склоненной спиной мама видит в окне напротив Элис Джексон. Та стучит по раме и показывает на маму пальцем. Хочу с вами поговорить, произносит она через стекло.

Мэри, произносит Мартино умоляюще, мы же друзья.

Никакие мы не друзья и быть ими не можем. Ты теперь прихвостень Джо.

Дверь дома номер один распахивается, Элис Джексон выходит на улицу, достает из сточной канавы теннисный мячик. Элис с мрачным видом направляется к маме. Мама не желает ее замечать, отворачивается. Она зажата теперь между Мартино и этой женщиной, которую знать не знает. И, забыв, совсем забыв про меня, она устремляется впереди Мартино по улице. Тот идет сгорбившись — хочет казаться меньше ростом. Он будто сгибается под ветром.

Деньги забрал Фрэнки, Тино, говорит она. Слова падают за ее спину и теряются. Что мне теперь делать?

Мэри знает, что она *могла бы* сделать. Она могла бы сама пойти к Джо, могла бы умолять его. Но мысль о нем жалит душу, как рой ос. Есть и другой выход.

Элис Джексон стоит, сложив на груди руки, перед нашей дверью. Она прижимает к телу теннисный мячик и смотрит, как мама, раскинув руки, мчится по улице, затем сворачивает в проулок, а за ней семенит огромный мужчина. Элис Джексон улавливает запах гари. Поворачивает голову, принюхивается.

* * *

Фрэнки сидит в «Лунном свете», облокотившись о стойку бара, и помешивает кофе длинной металлической ложкой с таким видом, словно отсюда и не уходил. Сальваторе слышит его слова, но смотреть на отца у него нет сил. Он усердно скребет тупым ножом плиту, от которой отскакивают обуглившиеся кусочки сыра. Сальваторе молча дожидается, когда отец закончит свой печальный монолог, и выпрямляется.

Ну ладно, ты поставил на лошадь и проиграл. Что же дальше? Ты идешь домой? Не-ет! Фрэнк у нас такой чувствительный. Фрэнки домой не хочет. Фрэнки только выигрывать хочет, так

ведь, а?

Сальваторе говорит и продолжает скрести, сбрызгивает плиту мыльной водой, истово возит ножом по эмали. К волоскам на запястье прилепились радужные пузырьки. Он останавливается, показывает ножом в потолок:

Джо Медора тебя видеть не желает — и я тебя видеть не желаю, а потом машет ножом перед лицом Фрэнки.

Убирайся отсюда куда подальше.

Потому что отец пришел попрошайничать. Клянчить у Сальваторе денег взаймы, у Джо клянчить отсрочки платы за квартиру. Он не произносит ни слова, ждет, когда Сальваторе угомонится, и слушает, как дождь стучит по мостовой. Дорожка была слишком твердая, думает он, снова проигрывая в памяти забег. Картинка получается пестрая: скаковой круг зеленый, лошади все гнедые, жокеи в разноцветных костюмах. Он выключает картинку как раз перед тем, как Придворный Шут сходит на пятом круге с дистанции.

Фрэнки сует руку в карман брюк, вытаскивает расписку от Лена Букмекера и бросает ее на стойку. Он выворачивает подкладку наружу, вываливает содержимое на ладонь и складывает

кучкой около смятой квитанции. Из пыли и табачных крошек выкатывается полкроны.

Иди домой, приятель, говорит Сальваторе, услышав позвякивание одинокой монеты. Он возвращает деньги отцу и вытирает стойку краем фартука.

Дело было верное, Сал, говорит Фрэнки, убирая в карман полкроны.

Да верное, верное. Чао, Фрэнки.

Фрэнки пристально глядит на Сальваторе, разворачивается и медленно идет прочь из бара.

Фрэнки — *иль капелло!* кричит Сальваторе, показывая на шляпу на стойке. Фрэнки его не слушает. Он петляет между кабинками, но не к выходу, а к узкой двери с табличкой «Служебное помещение», за которой лестница в его старый дом, старую жизнь, — там теперь кабинет Джо Медоры. Он хочет лично убедиться, что Джо не желает его видеть. Сальваторе поглаживает мягкий фетр шляпы и взглядом следит по потолку за шагами Фрэнки.

* * *

Калитка в наш двор заперта, и, чтобы добраться до задней двери, надо перелезть через ограду и спрыгнуть вниз. Те, кто в курсе, используют в

качестве упора крышу сарая. Ставишь ногу на перекладину, хватаешься одной рукой за подбой крыши, потом другой и прыгаешь вниз. У Фрэн есть другой способ: она раздвигает доски забора на задах дома номер четыре и перекидывает ногу через низкую проволочную ограду между нашим задним двором и домом Рили. Фрэн видит дым, выползающий из-под двери кухни, и в изумлении замирает.

На улице суета и крики. Мальчики Джексоны по приказу матери прыгают с крыши нашего сарая. Они сталкивают Фрэн с дорожки. Мартино ныряет за ними, царапает ладони об обломанный край шифера и с грохотом приземляется на колени. Он отталкивает мальчиков и напирает плечом на горячую дверь кухни.

Мама с улицы слышит, как горит в огне ее дитя.

В кухне густая завеса дыма. От внезапного притока воздуха пожар разгорается еще пуще. Пламя вьется огненной рекой по полу; оно пожирает клеенку, стол, лижет одеяла в моей колыбели. Мальчики, зажав лица руками, судорожно мечутся, натыкаются на стулья и визжат, как чертенята, изгнанные из ада. Все горит, горит, горит — и тут огромная рука Мартино поднимает

меня и вытаскивает на свет божий.

Когда приезжают пожарники, мы все уже в переулке, калитка во двор распахнута, и мальчики Джексоны чувствуют себя героями дня. Они треплют друг друга по плечу, стряхивают с одежды пепел, бурно размахивают руками и рассказывают друзьям, каково было там, в огне, показывают на языки пламени, рвущиеся из окна. Мартино, обхватив руками колени, прерывисто дышит. Поглядывает из-под закрывающей поллица челки на маму. Она стоит под проливным дождем, устремив взгляд к небесам; на меня даже не смотрит. Просто держит меня, обгорелый комочек, будто я свалилась ей на руки с неба. Мама убеждена, что я мертва. Когда подходит санитар, она бросает меня в его красное одеяло, как охапку дров.

Позже, раздевая Фрэн в гостевой спальне Карлотты, мама находит у нее два окурка и пустой спичечный коробок. И ее душу заливает черная горечь.

Трут

С моей правой рукой все нормально. Она пострадала мало, пальцы в полном порядке — в том смысле, что они на месте, шевелятся, сгибаются и могут показать что-то случайным незнакомцам, которые останавливают машину и, опустив стекло, спрашивают дорогу.

А вот левая… Те, кто меня не знает, изумленно пялятся, увидев ее. Отводят взгляд, а потом смотрят искоса на мое лицо — ищут следы и на нем. На лице тоже есть шрамы: их можно разглядеть, если приблизиться. Только немногим удается это сделать: моя вытянутая левая рука их останавливает.

Пальцы я потеряла. У месячного младенца ручка крохотная, но она — само совершенство. Умеет сжиматься в кулак, умеет растопыриться, а когда горит, ее нежная кожа вспыхивает мгновенно, как бензин, а кости — трут, легкая добыча пламени.

Мне она кажется произведением искусства: белым бутоном тюльпана под дождем, мраморной статуэткой святого, церковной свечой, чьи слезы стекают на подсвечник запястья.

Я возвращаюсь в прошлое и пытаюсь воссоздать всю картину. Наверняка в этом был некий Промысел. Вот Лен-Букмекер и его Синдикат (скоро, очень скоро мой кулак станет подобием его). А вот мама под дождем, опустошенная и потерянная; за ней — Мартино, вцепившийся в Жестянку, как Валтасар в драгоценный сосуд. И я думаю об отце, который стоит в этот миг в какой-то комнате на другом конце города: он ничего не знает. Он забыл обо всем: отец всегда ставит больше, чем может заплатить.

Три

В комнате над «Лунным светом» сидит за своим столом Джо Медора. Он занят и пропускает мимо ушей глухие удары шагов по ступенькам. Но Илья Поляк, стоящий у окна за спиной Джо, вздрагивает и прислушивается. Фрэнки стучит в дверь, приоткрывает ее, просовывает в щель голову. Он собирается заговорить, но, увидев склоненную голову Джо, услышав поскрипывание пера, заметив дымок, вьющийся кольцами от его сигары, отступает. Фрэнки смотрит на Илью и растерянно замирает в дверном проеме. Левая рука на латунной ручке, правая упирается в косяк, и та и другая вспотели. Он втайне надеется, что Сальваторе пошел за ним следом, но снизу лишь доносится приглушенная музыка, да рука Джо ползет по листу бумаги. Фрэнки оглушает его собственное дыхание.

Он отпускает ручку двери, и тишину прорезает скрип пружины. Фрэнки входит. Джо Медора подымает голову и снова утыкается в бумаги на столе. Хорошо хоть не велел Фрэнки убираться, не дал Илье Поляку знак выдворить его из кабинета. Фрэнки оценивает ситуацию и решает ждать.

Дождь стучит по стеклу. Ставень на ветру бьется о стену. Глухой удар — тишина — снова удар. Где-то далеко в городе низко подвывает пожарная машина. Если бы Фрэнки прислушался, он бы ее услышал, но Фрэнки смотрит во все глаза на свою старую берлогу, превратившуюся во владение Медоры.

Квадратного стола с зеленым сукном больше нет, так же как и виниловых стульев. Зато напротив двери появился мягкий диван, красный, с пуговицами, а рядом стеклянный столик, на котором веером разложены «Плейбой» и грязно-розовая «Спортивная жизнь». Взгляд Фрэнки скользит по столу Джо в углу комнаты, падает на одинокий стул с высокой спинкой, стоящий у стены (на него можно было и присесть, если бы предложили, дать отдых отекшим ногам), и утыкается в портрет Персиммона в золоченой раме, прямо над головой Медоры. Фрэнки впивается глазами в Персиммона, а тот глядит на него. В этой дуэли побеждает Персиммон.

* * *

Я присмотрю за детьми, миссис, а вы уж идите.

Элис Джексон все подталкивает маму к карете «Скорой помощи», но та упирается, боится того,

что может там увидеть. Селеста перехватывает поудобнее Люку, сидящую у нее на бедре, ловит многозначительный взгляд Элис Джексон. Она смахивает капли дождя с головы Люки и вступает на пятачок, который толпа оставила вокруг мамы.

Мама, мы можем пойти ненадолго к Джексонам, говорит она, надеясь, что та ответит: нет, вы все пойдете со мной. Но мама ее не слышит. Она проходит мимо женщин, стоящих на углу улицы, и, увидев распахнутую дверцу «скорой помощи» и мужчину, склонившегося надо мной, останавливается. Пожарный тащит по мостовой шланг. Мама следит, как он размахивает перед собой свободной рукой, словно пловец, и кричит детям, чтобы расступились. Они возбужденно подпрыгивают на месте, подхватывают тяжелый шланг, переступают туда-сюда. Другой пожарный поворачивает рукоятку, и шланг оживает. Дети с визгом бросаются врассыпную.

Наш дом представляет собой жалкое зрелище. Внутри все залито водой, воняет горелой пластмассой. От кухни остался лишь тлеющий остов. Мальчики Джексоны взялись за работу: наплевав на сердитые окрики пожарных, они обматывают влажными полотенцами лица и спасают все, что

могут. Вытаскивают во двор обгоревшие скелеты стульев—их черные ножки ломаются, как спички, и стулья с сухим треском падают на бетонную дорожку. Потом мальчики ныряют в кухню за столом, потом за дымящимся рулоном ковра, который рассыпается прямо в руках. Наконец выволакивают во двор обожженный сундук.

Мартино залезает в него, приподнимает краешек одеяла, все еще розового и мяконького, но одеяло буквально на глазах превращается в прах. Подбородок у него черный от сажи, в горле першит. Он стискивает обрывок одеяла в кулаке, идет мимо женщин — к маме. Женщины, похлопав маму по плечу — будто, дотронувшись до нее, они отгоняют от себя несчастье, — расходятся по домам. Мартино провожает их взглядом, но тут кто-то тянет его за рукав, и он оборачивается. Рядом стоит высокая блондинка и, не обращая внимания на шум от детей, женщин, пожарных, полиции, о чем-то тихо его спрашивает. Мартино замечает, что у нее зеленые глаза и необычная шуба из белого с темными пятнами меха. Ему поначалу даже кажется, что это пепел.

Что? — Он смотрит на нее пристально.

Я сказала, как ее зовут? — Она показывает на маму.

Мэри, отвечает Мартино.

Понятно. Так вот, Мэри, наверное, понадобятся какие-то вещи в больницу… Когда вы сможете туда пробраться…

Она оценивающе смотрит на дом.

А где ее муж? Надо ему сообщить.

Мартино опускает голову, ему стыдно за Фрэнки. Он видит золоченый ремень босоножки, обвивающий лодыжку, ногти на ногах — блестящие коралловые ракушки под тонким нейлоном, следит, как ступня женщины во время разговора чертит по земле узоры. Она стоит так близко, что он чувствует запах ее губной помады.

Вы — соседка? — спрашивает Мартино.

Ева Амиль, представляется она и добавляет, мотнув головой в сторону: Мы живем в четырнадцатом доме.

Она улыбается ему и ждет. Мартино тоже ждет, пытаясь вспомнить, о чем еще она его спрашивала.

Так вы сообщите мужу? — говорит Ева медленно, продолжая улыбаться. Вы знаете, где он может быть?

Я его найду, отвечает Мартино.

Ева забирает у Селесты Люку, пристраивает у себя на плече, отнимает у мамы Жестянку и

передает ее Мартино. Свободной рукой она приобнимает маму за талию.

Ты Мэри, да? Пойдем, моя хорошая. И женщины лезут в «скорую помощь».

* * *

Сигара Джо тлеет в пепельнице. На конторской книге стоит нетронутый стакан с виски. Какое богатство, думает Фрэнки и, взглянув на выпивку, сглатывает слюну. Джо сосредоточенно пишет. Какую-то долю секунды Фрэнки, сам не понимая почему, злится. И вдруг он видит его—кольцо с рубином на мизинце Джо! Камень поблескивает в оправе. У Фрэнки начинает покалывать в подмышках. Он сжимает-разжимает кулаки. Кольцо отца на руке Джо! Смотреть на это нет сил, закрыть бы глаза!

Но фильм, прокручивающийся у него в голове, Фрэнки не смотреть не может. Он вспоминает, как они встретились. Была пятница, февраль 1947-го нет, 1948 года. Ему тогда едва исполнилось двадцать.

Так холодно Фрэнки не было никогда в жизни. Это не то что на корабле, когда шквальный ветер обжигает лицо, бьет по зубам и голову пронзает резкая боль. Тот холод правильный, жар работы

и наступающий рассвет его растапливают. И дома все по-другому: зимы короткие и февраль не такой суровый. Фрэнки думает о Слиеме, об извилистой песчаной дороге к родной деревне, о грязновато-сером небе и мелком дождике, которого почти не замечаешь.

А этот холод — тягучая боль, обжигающая кожу, так и хочется согнуться в три погибели. Он преследовал его с самого начала, подкрался, как только «Каллисто» зашел в Тигровую бухту, вором-домушником проник в кости. И теперь он с ним, в полуподвале, в комнате, которую снял Фрэнки: покрыл стены заиндевевшей коростой, россыпью блестящих капель прилип к одежде. Первые два дня в Кардиффе Фрэнки провел буквально под землей. Снег на улицах приводит в ужас. Он в жизни ничего подобного не видал: ему кажется, что небо рухнуло. Фрэнки так и не смог набраться храбрости пройтись по городу. Ноет грудь. Он сидит за столом у разрисованного морозом окна, курит, наливает кофе из кастрюльки, которую стащил с бабушкиной кухни, глядит на ноги прохожих, идущих по улице. Мужчины движутся целенаправленно, ветер приплющивает широкие штанины брюк к ногам. Куда больше Фрэнки интересуют женщины: каблучки скользят и под-

кашиваются, затем следует пронзительный визг. Фрэнки вытягивает шею, пытаясь разглядеть, что там такое случилось. Сквозь скелеты сорняков, торчащие там, где прежде была изгородь, он успевает увидеть только мелькающие щиколотки поспешно удаляющейся дамы.

Весь город кажется ему слишком быстрым. Во вторник он сошел с корабля, а сегодня, в пятницу, у него уже есть и дом, и новая жизнь. Никому нет никакого дела до того, кто он и откуда, чем занимается. Это должно бы радовать Фрэнки, который сменил неспешную сельскую жизнь на суровую романтику моря, потому что ненавидел вечные причитания бабушки, перезвон медяков у нее в кармане, трижды, а то и четырежды в день отмечавший ее уход в церковь (то ли боялась, что пропустит чудо, то ли — что в ее отсутствие Истинная Вера покинет страну). В конце концов страну покинул Фрэнки. Последнее, что он видел, — младшую сестренку Кармель, истово махавшую ему с пристани рукой, а за ней — тающую в душном мареве Слиему.

Оказавшись в порту, Фрэнки знал, что делать: зарегистрироваться, найти жилье, а в плавание пока что не ходить. И несмотря на то что от ледяного воздуха пощипывало в носу, а ветер бил

шрапнелью, он пребывал в состоянии радостного возбуждения. Он глазел на высоченные дома, на широченные улицы и разбегавшиеся в стороны переулки, запруженные народом, видел, как из распахнутой двери пекарни вырываются гигантские клубы пара, стоял, завороженно смотря на бесшумно скользящие сквозь снегопад машины. У дверей Дома Моряка он встал в очередь с другими матросами и тут же заметил знакомое лицо — грека-кочегара с его же корабля. Фрэнки вскинул в приветствии брови, но тот был занят беседой и смотрел поверх него. Он огляделся в поисках кого-нибудь еще из знакомых, прислушиваясь, не звучит ли где родная речь, но очередь по большей части молчала. Некоторые стояли, вцепившись в вещмешки и чемоданы, те, кто только вошел, дули на озябшие руки.

Подошла наконец его очередь. Фрэнки подробно расспросили, внимательно изучили его документы и велели подписать какую-то бумагу. Мужчина за столом ткнул, не поднимая головы, в одну из строчек.

Франческо Гаучи? Здесь распишитесь.

Фрэнки взял ручку и нацарапал крестик. Мужчина в первый раз за все время на него взглянул.

Посмотрим, совпадет ли, сказал он, снова

развернув бумаги Фрэнка. Второй, помоложе, фыркнул из-за соседнего стола.

Все нормально, подпись подлинная. Вы мальтиец? Обрадовавшись, Фрэнки кивнул, так как разобрал последнюю фразу.

Значит, вам надо к Карло Кроссу. Он вас пристроит. Вы, часом, не родственники?

Еще один смешок из-за соседнего стола. Фрэнки шутки не понял, но догадался, что смеются над ним.

В полиции отметиться не забудьте, сказал мужчина. И, обнаружив, что Фрэнки забеспокоился, добавил, уже мягче:

Это для проформы, сынок. Ты ведь в Уэльсе впервые?

И Фрэнки снова кивнул, с грехом пополам сообразив, о чем его спрашивают.

Да, в Англии впервые.

Мужчина наконец ему улыбнулся.

Когда он направился к двери, ему преградил дорогу низенький толстячок, который быстро что-то залопотал. Фрэнки узнал сицилианско-мальтийский напевный говор и жесты — усиленное кивание головой, чмоканье кончиков двух сложенных пальцев. У толстяка Карло Кросса нашлась для него комната. Если надо. Фрэнки

было надо.

И Карло Кросс привел его сюда, дал подписать бумаги — еще один размашистый крест — на покупку мебели и съем комнаты. Он сунул Фрэнки здоровенный железный ключ от задней двери и на смеси английского с мальтийским рассказал о правилах.

Женщин не водить, *каписче*, приятель? *Лех тифла! Исамма — слушай!* По-английски понимаешь? Никаких женщин. Деньги только мне. *Каписче?*

Руки его взлетали в такт словам, а когда Фрэнки протянул ему пачку незнакомых банкнот, запорхали еще быстрее. Карло отсчитал несколько штук, вернул остальные и оставил Фрэнки наедине с самим собой.

Он ожидал совсем другого. Думал, это пансион, где живет полно других моряков, представлял, как будет ночи напролет пить, курить и играть в карты. А утром, непременно солнечным, он отправлялся бы со своими новыми друзьями — *хабиб* — искать бары, о которых столько слыхал, выпивал бы кофе с булочкой. Кардифф он выбрал не случайно: говорили, что здесь большая мальтийская колония и каждый день прибывают все новые и новые люди. Ему объясняли, что деньги

надо зарабатывать на море, а тратить их здесь.

Тигровая бухта — Валетта Британии! сказал ему, смеясь, приятель с корабля, когда бросили якорь. И порт этот считался *теплым.*

От этих воспоминаний Фрэнки передергивает. Самая холодная за всю его жизнь зима. Он переминается с ноги на ногу. Илья вдруг ухмыляется: ему забавно смотреть на мающегося отца. Они оба знают: Джо Медора, если захочет, может заставить его простоять так весь день. Это битва, в которой Фрэнки победить не может; он должен сохранять спокойствие. И взгляд его снова устремляется в прошлое.

Фрэнки сидел под окном, утирал платком нос и разглядывал свой новый дом. В углу потолок резко шел вниз, и под этим скатом стояла кровать. В первую ночь он не мог спать из-за шагов на лестнице, которая находилась как раз у него над головой, и их грохот отдавал прямо в ухо.

Есть еще одна койка — засунутая в узкое пространство между входной дверью и задней. Но во входной двери широкая щель почтового ящика, и Фрэнки содрогается, глядя, как сквозняк гуляет по краям подушки: уж лучше он поживет в шумном углу. Со временем Фрэнки научится не обращать внимания на грохочущую поступь мужчин, ночь-

заполночь навещающих женщину, живущую над ним. Научится по утрам скатываться с кровати — потому что, если с нее просто встать, бьешься головой о потолок.

Фрэнки не удивляется второй кровати, считает, что одной из них отведена роль дивана. Он положил на нее свой фанерный чемодан, одежду повесил в колченогий шкаф, а начищенные до блеска ботинки поставил под кровать. Он считает, что является здесь единственным жильцом.

Вчера он вышел, дрожа от холода, на улицу, нашел на углу магазинчик, ткнул пальцем в мешок с углем и доволок его, шатаясь и поскальзываясь, до двери. А потом носил уголь пригоршнями через кухню и ссыпал в очаг. Затем положил сверху газету и обломки оконной рамы, которые отыскал во дворе, зажег огонь и долго смотрел, как тот гаснет. Он начал все заново, на сей раз правильно, и через час уже сидел в тепле и наслаждался: Фрэнки держал руки над очагом, и сквозь них просвечивалось пламя, а он поджаривал то один бок, то другой. Комнату заволок туман. На стенах выступили мелкие капельки; лед на внутренней стороне окна растаял и растекался лужицей по подоконнику, а потом хлынул на пол. Фрэнки сдался и приоткрыл окно, чтобы впустить немно-

го воздуха. Теперь оно не закрывается.

Сегодня утром кто-то забарабанил во входную дверь. У Фрэнки здесь нет друзей, гостей он не ждал, а ключ ему дали только от черного хода. Пока он обходил переулком дом и добирался до входной двери, неизвестный ушел, оставив после себя лишь ровные цепочки следов — на крыльцо и обратно вниз. Фрэнки сравнил их со своими и понял, что тот, кто приходил, был невысок ростом.

Теперь он роется в чемодане, ищет, чем заткнуть щель почтового ящика, потому что через нее в комнату летит снег. Фрэнки находит кожаный мешок, где он хранит дорогие сердцу мелочи: розовый бессмертник, что вложила ему в руку Кармель, когда он сказал ей о своем отъезде; пару деревянных игральных костей и фотографию матери. Ее Фрэнки украл в ночь перед отъездом из бабушкиного алтарика в память о дочери — пришлось не дыша пробираться мимо бабушкиной постели. Он едва удержался, чтобы не взять и остальное: скромную черную мантилью, которую мать надевала в церковь, молитвенник в кожаном переплете, четки. И тогда же, в темном алькове, рядом с храпящей во сне бабушкой, решил, что с этой ерундой покончено

раз и навсегда.

Он уже не в первый раз думает о своей Наш, о том, как она убивалась, когда узнала, что Фрэнки уехал. На корабле он не осмеливался даже взглянуть на эти вещи, боялся, как бы их не украли, поэтому сейчас Фрэнки поражен до глубины души: на дне мешка он видит аккуратно сложенное кружево. Прежде ничего такого не было — это носовой платок *Наны.* Фрэнки вытягивает его, и сквозь кружево пробивается сияние. Что-то со звоном падает на бетонный пол, катится к входной двери и мерцает на свету то золотом, то алым пламенем. Дверь распахивается. Невысокий мужчина приятной наружности наклоняется и поднимает кольцо, которое Фрэнки только что нашел, и чуть было не потерял. Он надевает его на вторую фалангу указательного пальца и протягивает руку к Фрэнки. Тот глядит в глаза незнакомцу, тоже протягивает руку и тянет его за палец. Они так и стоят некоторое время.

Красивое кольцо, говорит наконец Джо Медора.

Моего папы, отвечает Фрэнки и вдруг чувствует себя как дома. Он осторожно снимает кольцо и надевает себе на левую руку. И улыбается новому другу.

Хабиб, думает Фрэнки, мой самый лучший друг. Что показательно: у Джо был ключ именно от парадной двери. Карло Кросс! Когда Фрэнки понял, что комната предназначалась не ему одному, он про себя прозвал его Карло Кровосос. Но в глубине души обрадовался. Джо станет ему приятелем, они отлично уживутся вместе.

Он что, заговорил вслух? Он открывает глаза, смотрит, моргая, на портрет Персиммона. Тот похож на любую другую лошадь — к примеру, на Придворного Шута. Он вспоминает, почему оказался здесь: почему его комната больше не его, почему кафе внизу не его, почему кольцо… и от всего этого Фрэнки передергивает. Да, присесть бы не помешало. Он может смотреть на Медору, но только не на кольцо у него на руке. Фрэнки глядит на лицо Медоры, разделенное светом лампы на две части — светлую и темную — так четко, что Фрэнки едва видна черная дырка от серьги в левом ухе Джо. Он подносит руку к собственному уху, щупает мочку и продолжает вспоминать непростые двенадцать лет их знакомства.

Смотри, какая милашка, а, Фрэнки?

Девушка делает вид, что не слышит Джо. Отойдя подальше, она оборачивается, смотрит на них и скрывается в одном из высоких домов, стоящих

в ряд. Джо забирает у Фрэнки сигарету, делает затяжку, прищурившись одним глазом. Они сидят на ступенях и жмурятся на весеннем солнышке. Целый час они наблюдали, как двое мужчин играли у стены в кости. Теперь те ссорятся. Фрэнки достает из кармана деревянные кости и вопросительно смотрит на друга. Джо накрывает рукой руку Фрэнки и качает головой.

Нет-нет, приятель. Ты посмотри на этих—никчемные людишки!

Только он это произносит, как глухой звук заставляет их повернуть головы. Один из мужчин лежит на земле, потом приподнимается на локте, орет на второго и молотит в воздухе ногами. Его вопящий рот слишком уж красный: Фрэнки не понимает, слюна это или кровь. Джо закуривает новую сигарету, и они оба, пока не кончается драка, смотрят на противоположный конец улицы, где четверо мальчишек склонились над мертвой чайкой. Они тыкают ее палкой, пинают башмаками. Затем разбегаются и тут же снова с визгом и хохотом сбиваются в стайку, пока из окна верхнего этажа не высовывается женщина и не кричит им что-то на незнакомом языке. Джо встает и аккуратно отряхивает брюки.

Эта парочка отлично смотрится. Оба подтяну-

тые, стройные. Белоснежные рубашки, черные брюки с отутюженными манжетами, черные же пиджаки, идеально завязанные галстуки, надраенные до блеска ботинки. Они смуглы, молоды и светятся удачей. На одной руке у Фрэнка кольцо с рубином, а на другой — бледно-желтый перстень с печаткой. Джо — воображала и пижон. У него серьга с бриллиантом, такая же булавка для галстука, а улыбка мерцает золотом.

Фрэнки чуть ли не на голову выше Джо: поэтому на том новая шляпа с широкой лентой.

Настоящая федора, Фрэнки! говорит Джо, аккуратно снимая с нее невидимую ниточку.

Ты только вслушайся — какая музыка. Федора, Федора… Они назвали ее в мою честь!

Оба смеются, и Фрэнки вдруг чувствует, что ему ужасно хочется новую шляпу.

Они тихо-мирно уживаются вместе. Даже выработался распорядок дня: поздний завтрак в «Хейсе», затем прогулка на рынок, где Фрэнки закупает продукты. Он крутит в руках товар, принюхивается, морщится, пока наконец не теряет терпение продавец или не сдается Фрэнки. А в это время Джо идет в паб напротив побеседовать с боссом. Чаще всего после этого они отправляются по какому-нибудь поручению: забрать долг,

отвезти девушку в отель, доставить посылку. Иногда нужно просто сидеть на улице и наблюдать. За эту вроде бы плевую работу им очень прилично платят. Джо обещает, что, когда Фрэнки получше освоит английский, он замолвит за него словечко. Может, Фрэнки даже получит постоянную работу. Легкие деньги, говорит Джо, потирая большой палец об указательный. Легкие деньги, попугайничает Фрэнки, повторяя и жест.

Вечерами Джо учит его всему, что знает сам, и его голос плывет, словно мечты, по их подвальчику.

Идем вразвалочку с приятелем вдвоем,
Идем вразвалочку и песенку поем,

и вскоре Фрэнки сам уже подхватывает:

Нас не берите, очень просим, на прицел.
Хромай отсюда, дорогуша, пока цел.

Фрэнки узнает много такого. Он глядит на огонек сигареты Джо, летающий в темноте вверх-вниз, и вспоминает свой последний урок — «Ты со мною, детка, или нет?».

Так ты со мною, детка, или нет? Давай, Фрэнки! — вопит Джо, и на лбу у него выступают капельки пота.

Пой, хабиб!

Джо скользит по комнате, гнет в руках Перл, будто она гуттаперчевая. Перл — новая подружка Джо. Фрэнки дымится от зависти, сидя на кровати и глядя, как они танцуют. Ноги так и просятся в пляс. Они кружатся совсем рядом, Джо запрокидывает Перл, и ее голова едва не касается коленей Фрэнки, а открытый рот с розовым язычком то и дело мелькает перед ним. Перл отлетает в угол и кричит, чтобы Джо перестал.

Джо, прекрати сейчас же! Прекрати, говорю!

Ее выговор напоминает Фрэнки скрип ржавых пружин. Она чересчур блондинистая, с тягучими сладковатыми духами и вся в блестящих бриллиантовых стекляшках. Впервые в подвальчике становится жарко. В глубоком вырезе кофточки Перл темнеет мягкая бороздка, которая невероятно волнует Фрэнки: он думает, наблюдая за их танцем, лишь о том, как бы ему хотелось засунуть туда язык и лизать, лизать, лизать.

Ни одна другая Фрэнки не интересует. Джо знает женщин; он знакомит с ними друга — словно дарит их ему. Все они тощие блондинки и похожи на Перл, но есть в них что-то настораживающее: они смотрят на Фрэнки, как голодная собака на кость. Пока не появляется Мэри.

О Мэри Фрэнки думать не хочет. Он тянет нить воспоминаний дальше, к одному серенькому майскому утру.

На кровати Джо уже больше недели никто не спал, и в подвальчике не хватало пения. Когда Джо, помахивая огромным кожаным чемоданом, с шумом распахивает входную дверь, Фрэнки еще дремлет. Не говоря Фрэнки ни слова и даже не глядя на него, Джо начинает собирать свои пожитки. Фрэнки лежит, подложив руку под голову, и следит, как тот берет фотографию Риты Хейворт в рамке, взвешивает на ладони и аккуратно возвращает на полку. Джо ныряет за занавеску, в кухню, и Фрэнки слышит, как позвякивают, когда их снимают с крючков, две фарфоровые чашки. Джо возвращается, заворачивает кружки в рубашку, снова исчезает, приносит сковородку и тарелку. Он сосредоточенно собирается. Фрэнки кажется, что это длится вечность.

Куда ты отправляешься? — спрашивает он наконец.

Мне надо отсюда съезжать, Фрэнк, говорит Джо, зарываясь с головой в шкаф. Он вытаскивает костюм вместе с вешалкой и укладывает его в чемодан.

Босс нашел мне место. И тут Джо вдруг во-

одушевляется, впервые смотрит на Фрэнки и торопливо бормочет:

…такая красотища, хабиб, на главной улице, над клубом Лучиано. Квартира с двумя спальнями. Полностью обставленная. С туалетом! Я буду управляющим клубом. Представляешь, Фрэнки, никакой квартплаты!

Рука Фрэнки шарит под кроватью. Он вытаскивает пачку дешевых сигарет, чиркает спичкой о ржавую спинку кровати. Спичка с шипением загорается. Он прикуривает.

Значит, две спальни? говорит Фрэнки, протягивая вторую сигарету Джо. Джо широко разводит руки, опускает плечи. Это могло бы стать началом ссоры.

Фрэнки… Фрэнки…

Фрэнки зажимает сигарету губами и, спустив босые ноги на пол, садится. Он вытаскивает из-под кровати собственный запылившийся чемодан, швыряет его между ними, распахнув крышку, затягивается и предлагает Джо уже свою сигарету.

Фрэнки, это дело не про тебя, юлит Джо.

А я как же? говорит Фрэнки, осторожно пробираясь сквозь недосказанные слова.

Мне опять в море?

Джо с открытым чемоданом, Фрэнки с открытым чемоданом. Джо склоняет голову набок и усмехается. Фрэнки ухмыляется в ответ.

Хочешь со мной, шепчет Джо и шевелит, как ножницами, средним и указательным пальцами — давай, мол, сигарету.

Хочу, отвечает Фрэнки и передает сигарету другу.

Фрэнки сидит на стуле под окном. Джо накрывает плечо Фрэнки чистым носовым платком, берет со стола бутылку с остатками рома, встряхивает ее, вытаскивает зубами пробку. Зажимает горлышко большим пальцем, быстро-быстро одним запястьем крутит бутылку вверх-вниз, прижимает мокрый палец к мочке левого уха Фрэнки. На плечо Фрэнки и на пол капает ром, по комнате ползет его аромат. Джо отхлебывает из бутылки, передает Фрэнки.

Джо наклоняется к нему, на секунду Фрэнки перестает его видеть, и Джо прижимает пробку к задней стороне мочки. Фрэнки чувствует на затылке дыхание Джо. Свободной рукой Джо вынимает из галстука булавку, облизывает кончик, вонзает в ухо Фрэнки и медленно вытаскивает. Булавка выходит из пробки со слабым скрипом. У Фрэнки холодеет шея — остается надеяться, что

это только боль, а не кровь; Джо мнет пальцами его мочку и с размаху всаживает в пульсирующее отверстие серьгу с крохотным бриллиантом — точь-в-точь такую же, как и у него. Фрэнки сидит неподвижно, уставившись на зажатую между коленями бутылку с ромом и на бусинки рома, поблескивающие на бетоне пола. Ощущает жжение, но не шевелится. Чувствует, как влажнеют глаза.

Джо, скомкав платок, бросает его в огонь. Кладет руку на плечо Фрэнки.

Крови было совсем немного, хабиб. Дело сделано.

* * *

Целую неделю Фрэнки не может спать на левом боку. Причина не в новой кровати и не в том, что от джаза, который играют внизу, дрожит пол, и не в страстных криках Перл, доносящихся из спальни Джо. Ухо Фрэнки превратилось в липкое месиво. Несколько дней он беспрестанно его разглядывает, пока не понимает, что больше не может на него смотреть. Но рука то и дело щупает мочку, проверяя рану. Он стоит у входа в клуб Лючиано, приветствует гостей, а пальцы тянутся к уху — кажется, будто Фрэнки погружен

в раздумья.

Перл замечает, что с ним, мажет ранку йодом, и ухо начинает заживать.

Фрэнки нравится, как теперь к нему относятся: те, кто знает его, с готовностью жмут руку. Наверное, это потому, что у него новый костюм и новая работа, думает он. Женщины, которых он прежде никогда не встречал, призывно поглядывают поверх бокалов в его сторону, а когда он стоит у бара, норовят просунуть руку ему под локоть, оставляют записочки у входа. И Джо, остановивший выбор на Перл, тоже смотрит на него иначе. Ты — мой должник, говорит его взгляд.

* * *

Ты *мой* должник, произносит про себя Фрэнки, ждущий, как мальчишка-посыльный, распоряжений.

Это были времена, когда он еще ничего не знал; это было до Мэри, когда ни у кого еще ничего не было, когда он, по глупости, мечтал, как они с Джо будут всем владеть вместе. Фрэнки решает уйти, он делает глубокий вдох и уже поворачивается к двери, но вдруг подскакивает от неожиданности — на столе Джо звонит телефон. Джо не обращает на треньканье внимания, он ставит внизу листа

размашистую подпись, а телефон все звонит и звонит. Не спеша он складывает бумагу, засовывает в конверт, лижет краешек. Язык блестит от клея, который остается и на губах. А они под настольной лампой кажутся совсем тонкими, словно бритва, и такие алые, будто два осколка рубина. Телефон умолкает.

Принеси стакан и иди,

говорит он Илье, протягивая через плечо конверт. Джо жестом разрешает Фрэнки сесть. Он наконец на него смотрит, но, прежде чем Фрэнки успевает открыть рот, Джо выдвигает собственное предложение.

Четыре

Врач поговорил с мамой час назад. Она сидит в больничном коридоре и крутит и крутит большими пальцами с потертыми жемчужинами ногтей, наставленными друг на друга. Она пролистала «С добрым утром!» и «Женский еженедельник», но взгляд только скользил по страницам — она ждет, что ее вызовут или, хуже того, врач вернется и молча положит ей руку на плечо. Она пристально изучала объявление на стене над столиком дежурной, совсем не понимая, что там написано.

> Убедительно просим посетителей не курить.

Дымят все: пол усеян окурками, напольная плитка в жирных черных разводах, повсюду кучки пепла. Люка заползает под мамин стул, елозит ручками по грязи, и за ней тянется дорожка слюны.

Во вращающуюся дверь входит Ева, сдирая на ходу прозрачную обертку с новой пачки «Плеерс». Дает сигарету маме.

Мэри, я звонила в «Лунный свет». Никто не

подходит.

Щелкает зажигалка, она склоняет голову, прикуривает. Протягивает пляшущий огонек маме.

Так он там работает? — спрашивает она, пуская дым. Твой муж?

Ева настолько ничего не понимает, что маме хочется плакать. Она смотрит на эту светловолосую женщину и не знает, с чего начать.

Миссис Джексон, как и обещала, присматривает за моими сестрами. Это значит, что она разрешает им побыть у нее во дворе. Ее муж — старьевщик, поэтому их сад — парк скульптур из покорёженного железа и гнилых досок с шестидюймовыми гвоздями. В зарослях сорняков стоят друг напротив друга два кресла с торчащими пружинами и клочьями конского волоса. В бывшей кроличьей клетке в углу сада обитает одинокий потрепанный голубь, который большую часть времени расхаживает взад-вперед по корке скопившейся в клетке грязи. Когда к нему подходит Селеста, птица судорожно хлопает крыльями, пытаясь взлететь, и бьется о крышу. Селеста упирается руками в проволочный корпус, заглядывает внутрь — смотрит в исполненный ужаса круглый глаз. Селеста поднимает из грязи длинное серое перо и протягивает его Фрэн.

Роза с Мариной сидят лицом к лицу в креслах и играют в «Что я вижу».

Что я вижу, что я вижу, начинается на Т!

Марина оглядывает двор. Замечает в густой траве старый телевизор.

Телик?

Не-а.

Марина называет Тарелку, Туалет, Трубу. Роза при каждом неверном ответе пинает ногой кресло, из которого вздымаются клубы пыли. Марина не видит больше ничего, что бы начиналось на Т.

Сдаюсь, говорит она.

Тухлятина! — кричит Роза и тычет пальцем на склизкую кучку совсем рядом с Мариниой ногой. И снова:

Тухлятина! Тухлятина! показывая Марине на гниющие в траве то ли огрызки, то ли объедки. Девочки с отвращением хихикают и начинают играть в акул, перепрыгивая, не касаясь земли, с поверхности на поверхность. А затем Роза изображает старшину и орет что есть мочи:

Рядовой Гаучи! А ну, пры-гать! Слушай мою команду! Ты у меня кровью харкать будешь! Равняйсь! — И Марина послушно выполняет команду, стоит, покачиваясь на дребезжащих

пружинах.

Фрэн в эту игру не играет: ее вечно отдают под трибунал. Ее манят к себе деревянные поддоны, прислоненные к стене сарая. Она заползает за них, съеживается в крохотном треугольнике между мокрым кирпичом и деревом. На каждой доске висят дождевые капли, стена за спиной покрыта слизью; откуда-то с земли на Фрэн смотрят два желтых глаза. Она встречала этого пса раньше, на улице. Она сует сжатую в кулак руку ему под нос, как учила мама, и через несколько секунд он лениво ее лижет. Пес дрожит, от него пахнет сырой землей. Фрэн садится с ним рядом, укладывает его голову себе на колени, пес, прижимаясь к ее теплому телу, тихонько рычит.

Фрэн проводит рукой по спутанной шерсти. Если бы он был ее собакой, она бы его вычесывала как следует. Она наклоняется к самой морде. И мыла бы. Фрэн смотрит в щель на сестер: еще минута — и они обязательно на нее набросятся. Это ты во всем виновата — такие слова она слышит чаще всего, а ведь это сущая неправда. Фрэн сует перо, которое дала ей Селеста, в рот, делает вид, будто курит, втягивает воздух, выдыхает. Потом водит пером по розовой пасти пса, но он трясет головой, опять рычит и снова укладывается ей

на колени. Фрэн отворачивает его обвислое ухо и шепчет в него:

Горит Лондон! Горит Лондон! Горит Лондон… Горит Лондон…

* * *

Селеста стоит на ступенях и зябнет под дождем. Роза с Мариной затеяли новую игру: они скачут на мокрых креслах и ныряют в сорняки.

Раз-два! Сбросить бомбы!

Ноги у них в грязи и траве. Селеста пытается сообразить, что они будут есть на ужин, где будут спать. В доме, в столовой, толкутся дети Джексонов: взрослые мальчишки развалились на диванах, они смотрят оценивающе и с подозрением; девчонки тяжеловесные и неуклюжие, с жидкими волосенками; чумазая малышня ревет. Детей бесконечное количество — Селесте не сосчитать, — но и нас не меньше.

Чтоб тебя, Донни! Заноси давай!

Калитка распахивается: с работы вернулся мистер Джексон. Пятясь спиной, он затаскивает здоровенный кусок железа, бывший некогда чьей-то каминной решеткой; ему помогает напарник Донни. Марина с Розой прыгают вдвоем на одном кресле и молча наблюдают, как мужчи-

ны, пыхтя и ругаясь, волокут железяку по двору.

Черт, Дон! Уй, нога! Повыше держи! Эй, гляди уронишь!

Каминная решетка с лязгом валится на дорожку, мужчины стоят, уставившись на нее. Дело сделано, и Артур Джексон утирает ладонью лоб. По лицу ползут ржавые ручейки. Он обращает свои голубые глаза на Селесту.

Привет! Ты из дома напротив?

Селеста пытается ему улыбнуться, но не получается: теперь у него голос ласковый, чего Селеста никак не ожидала. К глазам подступают слезы.

Зашли чайку попить? — говорит он и, поднимаясь на крыльцо, легонько треплет ее по плечу. Он проходит в дом, Донни за ним. Оба вытирают ноги о коврик у двери, Артур топчется, как жеребец в стойле, а Донни держится руками за косяк, словно перед ним разверзлась бездна. Но башмаки его чище не становятся. Селеста слышит у себя за спиной голос Артура Джексона, гулко разносящийся по пустому холлу.

Элис, у нас гости?

Из столовой выходит Элис. Следует череда шепотков и жестов. Донни ковыляет на кухню, крутит крысиным личиком, поглядывая то на Селесту, то на Элис, которая продолжает расска-

зывать. Селесте становится не по себе. Она так и стоит к ним всем спиной, но до нее доносится нудный голос Элис, и слова впиваются в позвоночник.

С каким-то типом… *бросила* ребенка… *сам он* бог знает где… Селеста вдруг вспоминает про Карлотту и Сальваторе. Зовет сестер и велит им взять пальтишки.

* * *

Они обернули мою руку бинтами — почти до подмышки, еще одна марлевая паутина обволакивает мое лицо. Под этой пеленой мне хорошо — тепло и сонно. Жалко, у мамы ничего такого нет: она такая твердая, острая, сидит, вся на виду, на пластиковом стуле. Она держит меня за руку — за ту, которую впредь будут называть «хорошей рукой», будто другая совершила что-то отвратительное и ее за это наказали, — и пытается слушать доктора. Волос я тоже потеряла немало, но, поскольку их и так было не очень-то, это пока никого не волнует. Говорят, у новорожденного первые волосы все равно выпадают через месяц-два. То, что осталось от моих, тоже выпадет, это уж точно.

Мама окидывает взглядом палату: здесь одни

детишки, но до всех прочих ей дела нет, в том числе и до Люки, которая играет в коридоре с золотым медальоном Евы. Ева пока что равнодушна к малышам (и уж точно не представляет, какими они бывают сильными: вскоре она обнаружит на шее багровую полоску, которая появится после того, как Люке наконец удастся сорвать цепочку и засунуть медальон в рот).

Мамины глаза — как две звезды на зимнем небе: она словно глядит в будущее. Она смотрит прямо в душу сидящего на краешке моей кровати доктора и решает ему довериться. Он говорит про третью степень, про пересадку кожи, про пластическую операцию.

Прогноз благоприятный, сообщает он маме. На нем белый халат, на груди стетоскоп, волосы аккуратно зачесаны на левый пробор. Чем-то напоминает парня, которого она когда-то знала. Доктор покрывает своими чудесными длинными пальцами стиснутые кулачки мамы.

Просто поразительно, что теперь научились делать. Новые протезы — это чудо, ласково говорит он. Мама кивает — будто понимает, о чем он. Она безумно устала. Я не умру, а остальное ее сейчас не волнует.

Однако нельзя забывать о шоке, продолжает

он.

Да со мной все в порядке, отвечает она.

Он имеет в виду мое шоковое состояние, но потом долго на нее смотрит и понимает, что я не единственная причина ее беспокойства.

Вы здесь сейчас мало чем поможете, произносит он. Вам есть у кого переночевать?

У меня еще пятеро детей, говорит мама.

Он смотрит ей в лицо. Выглядит не так уж старо, думает он; ей же едва за тридцать.

Они у соседей, начинает было она, но тут медсестра отодвигает занавеску, за которой стоит женщина в плаще. Новая мамина проницательность, совсем как рентген, уже предупредила ее, что такой человек появится. Из-за плеча женщины выглядывает Ева, одними губами шепчущая что-то невнятное. Мама бросает на нее взгляд, и Ева тут же подхватывает Люку, выносит из палаты, идет с ней по коридору к вращающимся дверям.

Вы, как я полагаю, социальный работник, говорит мама, одаривая ее ледяной улыбкой. Женщина достает из сумки блокнот.

Они с соседкой. Джексон, кажется… или Джонсон. Мы там живем всего месяц. Представления не имею, дорогуша. Он сейчас выбивает пособие.

Моряк на торговом судне. Нет, имя не испанское. Гаучи. Не через «о», а через «а». Да не оставляла я ее! Ну, валяйте, записывайте. Я же вам сказала! Вы что, глухая? Мои дети в полной безопасности. Огромное вам СПАСИБО. Они у соседки.

Но они не у соседки.

Селеста сказала миссис Джексон — взрослым голосом, как она умеет, — что они пойдут на ужин к тете Карлотте.

Да вы не стесняйтесь, говорит Артур Джексон. Еды у нас достаточно, правда, радость моя? Он оборачивается к жене, которая деловито чистит над мойкой картошку. Кожура плюхается в воду.

Это всего лишь жареная картошка, предупреждает Элис Джексон, махнув ножом в сторону Селесты. Вы едите картошку?

Селеста берет Фрэн за руку и ведет к двери.

Обычно нет, миссис Джексон. Спасибо вам большое за гостеприимство. Передайте маме, что мы у Карлотты, хорошо?

Мистер Джексон боится, что забудет имя. Он вынимает из кармана рубашки конверт, похлопывает себя по другим карманам в поисках ручки.

Запиши нам адрес, деточка, говорит он.

Не беспокойтесь, мама знает, где это, кричит с

крыльца Селеста.

Мистер Джексон стоит посредине кухни. Он все-таки нашел ручку, которую для надежности заложил за ухо. Облизнув губы, он склоняется над конвертом. Карла? Шарлотта? Селина? — проносятся в голове имена.

Как ее зовут, Элис?

Селеста, твердо отвечает она.

Ах, да. Селестия.

Мистер Джексон большими буквами записывает имя.

Сел, ну мы же едим картошку! Едим! — твердит Марина.

Заткнись, шипит Селеста и крепче сжимает руку Фрэн.

Я тоже хочу картошки! — верещит Роза.

Все заткнитесь! — рычит Селеста, их нытье мешает ей сосредоточиться. Она пытается вспомнить, где живут Сальваторе и Карлотта. Надо представить себе, где это. За углом от церкви.

Она ведет сестер (но не пса, который трусит за ними, пока Роза не швыряет в него камнем) через двор Джексонов, на улицу. Они не могут удержаться и переходят дорогу, чтобы взглянуть на свой дом. Селеста заглядывает в щель почтового ящика: столовая выглядит как обычно.

Она прижимается лицом к двери, приподнимает пальцем железную крышку, в глаз дует ветер. За столовой все темно; дверь на кухню будто выкрасили черной краской. В нос ударяет запах сырости и гари — как в Ночь Гая Фокса.[2]

На заднем дворе покачивается на ветру сорванная с петель калитка, кто-то прислонил ее к ограде. Девочки одна за другой проходят во двор и изумленно смотрят на устроенную во дворе свалку.

Это все ты виновата, говорит Роза, ткнув пальцем в сторону Фрэн.

Ну заткнитесь же, стонет Селеста так тихо, что они от удивления замолкают. Стулья, стол, ковер, сундук — все это так и валяется под дождем. Вход на кухню заколотили доской, а дверь брошена на траву в самом конце сада. На окне висят опаленные занавески; по стеклу ползет кривая трещина. Селеста заглядывает в сарай: на пороге груда горшков и мисок, а на сиденье унитаза кто-то — может, один из мальчиков Джексонов — положил аккуратной стопкой мамины кулинарные книги. Селеста протягивает руку, берет ту, кото-

---

[2] Примечания: 2

Вечером 5 ноября, в память о раскрытии «порохового заговора», пускают фейерверки и сжигают чучело Гая Фокса. (Здесь и далее прим, пер.)

рая сверху — «Духовка „Новый мир“ — чудеса на вашей кухне», и переплет тут же отрывается. Она смотрит на картинку с улыбающейся женщиной в кружевном фартуке и на каблуках и думает, как странно, что все здесь такое горелое и одновременно мокрое.

Слышен скрип — это качаются на ветру почерневшие стулья. На выложенной плиткой дорожке лужа, в которой плавают островки угольков. Девочки в плащах, подвязанных поясками, стоят и смотрят на нее.

Ну все, устало говорит Селеста, уходим.

* * *

Фрэнки не верит своим ушам. Это просто невероятно. Услышав такую глупость, он смеется. Смех его отзывается зловещим эхом в коридоре, и ему хочется расхохотаться снова, что он и делает, на сей раз уже нарочно: звук получается высоким и гулким. Фрэнки видит, как поднимается по лестнице Илья, сжимая в руке стакан, за которым его послали, и отец едва сдерживает накатившее желание выбросить вперед ногу и стукнуть его со всей силы в живот. С каким бы удовольствием он поглядел, как тот летит вниз, желательно — в рапиде. На площадке Илья останавливается,

что-то говорит проходящему мимо него Фрэнки, но так тихо, что Фрэнки не разбирает слов.

Ты чего? — переспрашивает он, обернувшись к Илье. Илья протягивает ему пустой стакан, Фрэнки берет его двумя пальцами за край, тянет на себя.

Говорю, лети домой, жучок, повторяет Илья и смеется, щелкает в воздухе пальцами, отпустив наконец стакан.

Фрэнки стискивает стакан, он уже дозрел окончательно, но Илья отворачивается и взбегает по последнему пролету наверх. Ушел, и ладно, Фрэнки много о чем надо поразмыслить. Он распахивает дверь в бар. Отец не ответил на предложение Джо ни да, ни нет: прежде чем принять решение, надо все с кем-нибудь обсудить.

В кафе полутьма, и за стойкой стоит не Сальваторе, но Фрэнки знает этого человека: Мартино наливает себе щедрую порцию бренди. Фрэнки смотрит на него, потом замечает на стойке Жестянку и снова смотрит на Мартино. Тот приподнимает бутылку, кивает на стакан в руке Фрэнки.

Тебе не помешает, говорит он.

Из кухни выходит Сальваторе. Он сует на ходу руку в рукав пиджака, для толстяка он движется

слишком быстро.

Фрэнки! Илья тебе сказал? — кричит он, выбегая из-за стойки. *Иичендио!* Твой дом!

Мартино залпом опорожняет рюмку, ловит на себе горящий взгляд Фрэнки, поднимает руки.

Это не я, друг. Я бы никогда… Никогда…

Фрэнки кажется, что стены вокруг него сжимаются. И впервые за день *хочет* подумать о маме. Хочет знать, где она. Он смотрит на Мартино.

Мэри?

Она в больнице. С ней все в порядке, Фрэнки! — окликает Мартино отца. Но не находит слов, чтобы рассказать обо мне.

Фрэнки выбегает из кафе, на улицу, под дождь. На стойке бара остается лежать его шляпа. Сальваторе хватает ее и бежит следом за Фрэнки в больницу.

* * *

Джо Медора поглаживает конторскую книгу, на ощупь она приятная, чуточку шершавая. Как мирно воспринял Фрэнки его предложение! Ни один мускул на лице не дрогнул — жаль, что в покере он не так хорош, думает Джо. Он дал Фрэнки денек-другой на размышление — дело-то ведь тонкое.

Желание Джо простое: ему нужна Марина. В конце концов, размышляет он, Марина ведь моя дочь. Думать-то думает, но до конца не уверен. Нет, уверен: он видел ее, в ней его кровь. Он сидит, уставившись на бумаги, мысленно представляет себе Мэри и не обращает внимания на тихо вошедшего в комнату Илью. Однако короткого презрительного смешка Ильи пропустить мимо ушей не может.

Ты не поверишь, говорит Илья, лицо которого сияет, до чего же не везет Фрэнки!

Джо поднимает голову.

Что еще?

Илья чмокает кончиками пальцев, дует вслед взлетевшему в воздух поцелую.

Пожар, босс. Случился пожар. Его дом сгорел.

Мой дом, говорит Джо. Это *мой* дом.

* * *

Артуру Джексону стыдно, что он в нижней рубахе. Он стоит, забыв о приличиях, в дверях и смотрит на маму. В тусклом свете уличного фонаря она выглядит очаровательно — с кудряшками вокруг лица и огромными карими глазами, которые от волнения кажутся еще больше. Он вспоминает, как положено себя вести.

Простите, миссис, проходите же, на улице дождь. Еще раз простите! А, миссис Амиль! — говорит он, заметив Еву, которая держит на руках спящую Люку. Вы тоже проходите.

Я не желаю видеть эту женщину в своем доме, раздается голос из столовой.

Мама, не понимая, что она сделала не так, поднимает глаза на мистера Джексона. В разговор тут же вступает Ева.

Все в порядке, радость моя, это она обо мне, говорит Ева со злобным смешком.

Она наклоняется к маме и говорит, подражая голосу миссис Джексон: *Эта женщина! Никакого понятия о том, как ведут себя приличные люди!* Мама глядит на нее с удивлением: разве Джексоны сами в этом что-нибудь смыслят. Ева угадывает ее мысли.

Я тебе все сама расскажу, Мэри, говорит она. Если меня кто не упредит. И склоняет голову к Люке.

Может, я пока отнесу малышку к себе? В четырнадцатый, хорошо?

Мама глядит вслед удаляющейся Еве.

Артур Джексон скалит зубы: вроде нужно вежливо улыбаться, но ему не по себе оттого, что она стоит и смотрит прямо ему в глаза, и Артур

Джексон не может с собой справиться.

Я пришла за своими детьми, коротко говорит Мэри, словно напоминая: заберу их, и мы не будем вам мешать.

Он быстро кивает, вытаскивает из кармана брюк конверт.

Они вот туда пошли, видите? Ваша дочь просила вам передать.

Мэри читает записанное им имя.

Селеста? Селеста? Она трясет головой, пытаясь разобрать прыгающие перед глазами буквы.

Ага, миссис… Мэри, точно. Они туда пошли. Мэри кривится.

Селеста — это моя *дочь*, говорит она. И, вдруг вспомнив про социального работника, начинает паниковать. Кто их забрал?

Да нет же, Мэри, они туда сами пошли.

Мистер Джексон тычет пальцем в свои каракули. Мэри вырывает у него из рук конверт, прижимает ко рту. Она думает. Перебирает места, где они могут быть. Селеста могла отвести их в «Лунный свет». Или забрала на улицу погулять. Мэри оборачивается к двери. На улице совсем стемнело. Что еще могла сделать Селеста? Артур смотрит на нее, видит, что она уставилась в темноту. Сам не зная почему, он чувствует себя

виноватым.

Дверь все еще нараспашку? — следует очередной крик из столовой.

Здесь жуткий сквозняк!

Мэри прижимает конверт к груди; она пытается унять сердцебиение. Мистер Джексон замечает этот жест, видит, как рука скользнула от губ к груди, и это его трогает. В коридоре появляется Элис Джексон. Мэри замечает, что она в шлепанцах — голубых с помпонами.

Они пошли к своей тете, говорит Элис и, заметив озадаченный взгляд Мэри, поворачивается к мужу.

Как она ее называла, Артур?

Он пожимает плечами. Он боится повторить вслух то, что запомнил. Элис склоняет голову набок, теребит нос. Задумывается.

Карлотта, говорит она твердо. Так ваша девочка сказала. Пошли к тете Карлотте ужинать. Нашего есть не пожелали!

И она удаляется в столовую. Артур Джексон провожает ее взглядом, наклоняется к маме.

Это далеко, Мэри? Давайте я с вами схожу.

Нет, спасибо, отвечает мама. На автобусе доеду.

* * *

Селеста перевела Розу, Марину и Фрэн через Площадь. Если не найду дом сразу, решила она, пойдем в больницу. Спрошу у кого-нибудь дорогу. Или заглянем в «Лунный свет»; Сальваторе наверняка там.

Так что поначалу Селеста не очень волнуется, но когда они оказываются у «Парада», она приходит в замешательство. Они стоят на углу и ждут, пока Марина сбегает к жилым домам, посмотрит, как называется улица.

Что там написано? — кричит Селеста.

Погоди, Сел… Южная… Церковная… улица.

Они идут дальше, но на следующем перекрестке — Северная Церковная улица, а потом Греческая Церковная. Все три пересекает Западная Церковная. Это похоже на дурной сон. Селеста негодует: оказывается, здесь не одна церковь, а она-то взяла за ориентир свою.

Она решает пойти в «Лунный свет». И только они поворачивают за угол, как глаза ослепляют фары мчащейся на них машины. Селеста толкает сестер к ближайшему подъезду. На улице темно, льет дождь, а сидящий за рулем Джо Медора занят своими мыслями и не замечает четырех

маленьких девочек, жмущихся к стене.

* * *

Ева накормила Люку хлебом, напоила какао и завернула в одну из свекровиных шалей. Теперь Люка спит посреди дивана, зажатая между Евиным мужем Юсуфом и его матерью Наймой. Найма ничего не говорит, но ей нравится, что в доме ребенок: она пристально следит за Евой, пытается понять, есть ли у Евы материнский инстинкт, а когда Люка шевелится во сне, ласково над ней курлычет. Рот у Люки открыт, ноги раскинуты в стороны, палец одной руки торчит вверх, в другой она крепко сжимает цепочку, что сорвала с Евиной шеи. Похоже, она чувствует себя как дома.

Ой-ей-ей, шепчет Ева. Какая лапуля.

Юсуф протягивает руку и дотрагивается до ступни Люки.

Очень красивая девочка, миссис, ухмыляется он маме, появившейся в дверях.

Не стоит ее тревожить, Мэри, поспешно говорит Ева. Можешь оставить ее на ночь — она нам не помешает!

Спасибо, радость моя, отвечает мама, но я ее заберу. Она со стоном взваливает Люку на руки.

Цепочка падает из Люкиного кулачка на пол.

Ой, извини, говорит мама, когда Ева наклоняется ее подобрать. Мама вздыхает, укрывает полой жилета Люку.

Я сначала, пожалуй, схожу посмотрю на дом. Нет смысла приводить туда детей, если там… нельзя жить. Ева делает Юсуфу большие глаза и берет Мэри под руку.

Вдвоем сходим, ладно? Посмотрим, что за кавардак они там устроили.

В столовую проникает оранжевый свет уличного фонаря. Ева видит в полумраке фигуру Мэри, которая понапрасну щелкает выключателем.

Электричество отключили!

Оно у нас на счетчике, говорит мама. Это в кухне, под лестницей. Только у меня нет монеток.

И начинает плакать. Ева берет Мэри за руку и выводит на улицу.

Иди, найди детей, говорит она ей. Мы все сделаем. Возвращайся утром.

Ева вынимает из кошелька десятишиллинговую банкноту, сует маме в ладонь.

Это на автобус, радость моя. И купи себе чего-нибудь поесть по дороге. На тебе лица нет!

Когда наконец приходит автобус, Ева помогает

Мэри сесть. Она наклоняется, берет Люкин кулачок и целует его.

Какая лапуля! кричит она, спустившись на тротуар.

Ева поплотнее запахивает шубку. И, пока автобус не уехал, смотрит на мамино лицо в окне.

Пять

Второй раз в моей жизни отец стоит надо мной, стиснув кулаки. Этот раз не последний, но для отца воспоминания о походах в больницу самые тяжелые. Он плачет.

Бамбина, причитает он. Бамбина… Бамбина… Бамбина…

На самом деле он никак не может вспомнить моего имени. Забыл. Мысли о Джо Медоре, о том, что сказать Мэри, что делать дальше, — все это утонуло в гимнах, которые он поет в мою честь. Сальваторе сидит рядом с моей кроваткой, то и дело проводит ладонью по влажным волосам. Он слышит тихий плач ребенка где-то в углу палаты, слышит, когда наклоняется, чтобы найти носовой платок, свой судорожный вздох. Сложенный носовой платок оказывается в кармане брюк, он дает его отцу, тот прикрывает им глаза, чтобы не видеть меня, — разворачивает и водит им ото лба к подбородку, словно утирает с лица пот. До меня отец пока что даже не дотронулся.

Медсестра приносит две чашки чая; тишину нарушает звяканье фарфора. Отец пялится в чашку — он рад, что есть куда смотреть, дует на

чай, пока не подымается пена, продолжает дуть, и пена тает, как грязный снег весной.

Медсестра стоит рядом, зажатая между этими двумя мужчинами в костюмах, и вертит в руках мою карту. Украдкой смотрит на часы.

Ваша жена ушла домой, говорит она, окидывая взглядом и Фрэнка, и Сальваторе: у обоих такой потерянный вид, что она не может определить, кто из них папаша. Не получив ответа, продолжает уже строже:

Лучше утром приходите. Ребенку нужен сон. Она склоняется над моей кроваткой и выключает лампочку.

В палате не совсем темно, под бинтами жарко, от меня подымается горячая волна, а где-то рядом чуть слышный шум, который то появляется, то исчезает. Поначалу не поймешь, откуда идут звуки, похожие на вздох. Это ветер, колышущий остатки листвы на дереве за окном, но для меня он как шипение кипящей олифы. Теперь надо мной склоняется отец: он хочет до меня дотронуться, но не знает как, и от его руки, зависшей над призраком моей, исходит самый сильный, самый мрачный жар. Палату наполняет истошный визг.

* * *

Поздно вечером автобус идет по другому пути — «последняя надежда полуночника», как называет его кондуктор. Мама нетерпеливо ерзает; ей необходимо немедленно пересчитать всех детей. Через три остановки автобус уже полон, и мама сидит, прижатая к окну седым мужчиной, от которого несет пивом. Он вытягивает ноги, хватается за спинку переднего сиденья и заводит песню.

А — ты ангелочек!

Б — ты бесподобна!

В — ты вечный восторг!

и склоняет сизый нос к Люке, которая зарывается лицом в мамин жилет.

Мама утыкается головой в Люкину макушку, вдыхает запах ее волос. Та самая «Алфавитная песенка». Странно, что ее призрак явился именно сейчас. Она смотрит в окно — сквозь свое отражение в ночь, поверх маслянистых крыш домов, туда, где темнеют холмы, где скоро затеплится восход.

Мэри пришлось пройти две мили от своей

деревни до Хирвауна, где обещал ждать ее с фургоном Клиффорд. Она все отлично придумала; положила в сумку кошелек, щетку для волос, платье в горошек и туфли. А пока что ковыляет в старых рабочих башмаках отца, в которые напихала выдранные из «Эха» страницы. Он взбесится от злости, думает она, но он так и так взбесится — при мне или без меня. Разницы никакой: отец по утрам всегда одинаковый.

Мэри смотрит на башмаки, языки болтаются туда-сюда, пока она пробирается по крутой тропинке, по скользким камням, по заиндевевшей траве. Плевать, что нет шнурков: вот доберется до Кардиффа и отошлет эти опорки домой — как есть, набитые газетой.

Остаток пути она видит будто на карте: спуститься по склону холма, что возле дома, обойти по задам церковь и ферму Кутов, дальше по дорожке вдоль берега реки к подножию Минидд-Фаур. А как доберется туда, будет стоять и ждать. При дневном свете видно, что тропинка вся в рытвинах, но в этот утренний час, пока лучи солнца сюда не дотянулись, земля кажется прозрачной как стеклышко. Она бредет дальше, хрустит льдом на краях лужи, подцепляет льдинку ботинком и гонит впереди себя. Мэри

девятнадцать лет, она решила оставить отца и родные сланцевые холмы: отправляется с Клиффордом в Город.

Она ходит взад-вперед по дорожке. Наверное, пришла слишком рано. Мэри смотрит на еще бледное небо, проглядывающее поверх потрепанных крон дубов; стой она повыше, скорее бы разглядела фургон Клиффорда. И она взбирается на склон, ее взгляд скользит по извилистой тропе — та скрывается из виду, а потом возникает снова, широкой лентой тянется к городу. Мэри наблюдает, как тает над долиной туман, замечает, как крохотные точки вдали оживают и начинают шевелиться — отсюда они совсем маленькие, а шуму производят на удивление много. Но ни одна не похожа на фургон Клиффорда, да и звук у них другой. Она уже тыщу лет ждет. Мэри кладет руку под подбородок и чувствует, как бьется пульс. Стоит неподвижно, словно каменная, но считает отдающие в пальцы удары. Сотня, другая, еще, еще, еще, и вот уже солнце стоит высоко над головой, и она понимает, что он не появится. Мэри спускается с горы и отправляется дальше, пешком.

Ее отец читает записку, которую она оставила. Швыряет бумажку в огонь.

И хрен с тобой, говорит он пустому дому.

Вроде бы весна, а ветер пронизывающий, как в ноябре. Мэри кутается в воротник пальто. Ее голые ноги побагровели от холода, щека онемела, руки стынут. А внутри все кипит. Мэри хватает ртом воздух, и ее слова несутся над долиной.

Ты — убожество, Клиффорд Тейлор! Подлый сукин сын!

Взмывает в небо стайка птиц, и наступает тягучая тишина. Мэри чувствует, как стучит в висках кровь.

Не плачь, девочка, говорит она тихо. Не надо плакать.

Она присаживается у обочины на корточки и ищет в сумке перчатки, находит одну и вспоминает, где вторая — в столовой на каминной полке. Она снимала их, чтобы написать папе записку. Мэри открывает кошелек, пересчитывает деньги, которые удалось накопить. Каждое утро по любой погоде — в Пендерин, в «Шахтерское счастье». Расколешь лед в бочке с водой, сунешь туда руки, а они от студеной воды совсем потрескались, стали как куриные лапы: шутка ли, простоять всю зиму во дворе, чистя картошку! А по вечерам! Мужчины с остекленевшим взглядом и провонявшие дрожжами пялятся на нее,

пока она наливает им в кружки пиво, только пялятся — ни слова не проронят. И жар, жар от их припорошенных углем глаз.

Все ради тебя, говорит она, потирая замерзшие руки. Сукин ты сын!

Мэри закидывает сумку на плечо и решает, что в Кардифф пойдет все равно. Но деньги транжирить не собирается, даже на автобус: доходит, стерев ноги в кровь и клокоча от злости, до главной дороги и поднимает руку.

Все глубже и глубже. Сон, который, как мама думала, уже не придет никогда, накрывает ее. Автобус трясется по Пэрейд, останавливается, снова трогается, и звяканье колокольчика кондуктора, гул пьяных разговоров вплетаются в ее сны.

Эй, ты! Я тебе, тебе!

Мужчина размахивает салфеткой как сигнальным флажком.

Я сказал — два «Лэмз»! «Лэмз»!

Мэри хочется вырвать у него салфетку и запихнуть в глотку. Но она виновато улыбается, ставит отвергнутые стаканы обратно на поднос и несется к бару. Это ее второй вечер в баре Лючано. Ей что ром, что коровье молоко. А они чего только не требуют: джин с имбирной, ананасовую шипучку, скотч с закуской. Не то что в «Шахтерском

счастье», где пили только пиво, легкое или горькое — в зависимости от настроения.

Пока официантка, стоящая перед ней, ставит на поднос свои заказы, Мэри прислоняется к стойке. Самим здесь напитки разливать не разрешают — для этого есть специальный человек. Мэри разглядывает его: черный костюм, рукава поддернуты, манжеты белоснежной рубашки завернуты, видны золотые запонки, на которых выгравировано восходящее солнце. Официантка впереди нее не торопится, кокетничает с ним. А он глядит поверх ее головы — наблюдает за залом, на нее же и внимания не обращает. Когда подходит очередь Мэри, он смотрит на нее и спрашивает:

Он чего к тебе привязался? — кивая головой в сторону типа с салфеткой. Мэри на мгновение берет оторопь: у него голос, как у Марио Ланца, думает она, он даже похож на Марио Ланца. К лицу приливает кровь. Чтобы скрыть волнение, она утыкается в блокнот, привязанный к фартучку.

Он сказал, рома, я ему и принесла рома, а теперь говорит — «Лэмз».

Она показывает ему заказ. Он опять кивает, берет два чистых стакана и указывает головой в сторону комнатки за баром.

Два «Лэмз», произносит он, наливая в каждый стакан по мерке коричневого рома. Она протягивает руку, хочет поставить стаканы на поднос, но он останавливает ее, берет один стакан и поворачивается к залу спиной. Челюсть его ходит из стороны в сторону, между зубов показывается язык. Он плюет в ром.

Таким спуску давать нельзя, говорит он, вытирая со стакана влажный белый след. И одаривает ее ослепительной улыбкой. Это Фрэнки во всем блеске своего очарования.

Я любила его, думает Мэри, которую пробуждает от воспоминаний привалившийся к ней сосед. Он бросил петь «Алфавитную песенку» и погрузился в сон; голова у нее на плече, рот то открывается, то захлопывается — как у вытащенного из воды карпа. Она отодвигает его, высвобождает руку, вытирает со стекла ручейки.

Полюбила с первого взгляда, шепчет она в макушку Люки, а потом во весь голос: Дурак последний! Мужчина, вздрогнув, просыпается, осоловело моргает и снова заводит:

А — ты ангелочек! Б — ты бесподобна…

Фрэнки держит ее в объятьях. Она не понимает, то ли это пол трясется от музыки снизу, то ли тело Фрэнки, то ли ее тело, но они лежат в кровати и

оба дрожат.

Ты бесподобна, говорит он, а рука его скользит по изгибу ее бедра, по тугому эластику пояса. Сними это.

Еще две остановки. Мама перекладывает Люку на другое плечо, наклоняется вперед, чтобы пробраться через соседа, который по пояс свесился в проходе.

Мама с трудом протискивается, он бестолково водит глазами. Мэри так давно не думала о прошлом, что оно кажется чьей-то чужой жизнью. Фрэнк Гаучи и Джо Медора; оба такие шикарные, такие блистательные… Тут она себя останавливает. Не будет больше думать про Джо — про то, *как* такое случилось, — и про Фрэнки не будет: где был, где может быть сейчас, что с ней сделает, когда узнает про пожар. Она сосредотачивается на мыслях о детях.

А вот Фрэнки думает *о ней*. После больницы, после нашего дома, к которому он даже не смог подойти — рядом стояла машина Джо Медоры, — Фрэнки отправляется к Сальваторе и Карлотте. Сидит в гостиной и ждет, обдумывая все, что случилось.

Суть дела такова.

Фрэнки получает: дом, деньги, которых хватит

и чтобы избавиться от последствий пожара, и чтобы рассчитаться с Синдикатом, и еще немного сверх того, чтобы Мэри не приходилось работать ночи напролет. И еще предложение управлять в отсутствие Джо «Лунным светом».

Фрэнки теряет Марину.

Условия щедрые, это он понимает. А еще понимает — боль кинжалом пронзает сердце, — что Джо долго выжидал, когда же он окажется в безвыходной ситуации. Он пытается представить себе, как именно Мэри его обманывала. Это невыносимо. Мысли Фрэнки мечутся, он пытается за ними поспеть, но стоит ухватиться хотя бы за одну, и она ускользает. Они вспыхивают в мозгу фейерверками, взрываются снопами искр, которые тут же чернеют и гаснут. А глаза обшаривают гостиную Сальваторе в поисках чего-нибудь неподвижного, за что бы зацепиться взглядом: вот зеркало над камином в вычурной раме, уныло тикающие часы на каминной полке, вот пластиковый купол над игрушечным домиком — тряхнешь, и повалит хлопьями снег. И во всем видит Мэри, принимая свою ярость за любовь. Он ее хочет — и ненавидит, все для нее сделает — и в клочья разорвет.

Фрэнки и в голову не приходит, что Марина,

может, и не дочь Джо; теперь Фрэнки видит в девочке только Джо, кровь от крови, плоть от плоти. И мечтает, чтобы она исчезла с глаз долой — только бы от нее избавиться. Если мог бы, он бы и Мэри бросил, и остальных детей. А с этими лишними деньгами со временем, если повезет, вдруг да удастся, — сумеет сбежать.

Он вспоминает дочерей, мысленно выстраивает их в ряд и каждую пристально изучает — Селеста, Роза, Фрэн, Люка. И, убедившись, что они его, одобрительно кивает. На мне он запинается: в голове всплывает слово, которого он не может выпустить наружу.

Ему есть много чего сказать. Мама приедет, и семья снова будет вместе — полный набор. Конечно, не считая меня. Это разрешится скоро.

Вмешательство

Марину я не помню: когда ее увезли, мне был всего месяц и я лежала в больнице. Мама мне рассказывала, как она уезжала, перечисляла все, что положила в Маринин новенький коричневый чемодан:

Две пары сандалий «Кларк», очень кстати при тамошней погоде; новое платьице с розовыми бутончиками по лифу — знаешь, Дол, как у сказочной принцессы, — и три новые кофточки; атласную ночную рубашку; настоящий несессер от Маркса; изумрудно-зеленый купальник. Ой, она получила все, о чем мечтала! Пришлось сесть на чемодан — иначе он не закрывался! Мама описывает это снова и снова, с застывшей на лице улыбкой.

Через много лет я выскочила на лестницу, напуганная сном, в котором на меня наваливается — так, что не продохнуть — раскаленный шмат сала, и услышала внизу ровный успокаивающий голос, а потом пронзительно-горький крик матери:

Ты ее продал! Не дотрагивайся до меня. Фрэнк! Ты продал ее!

Дети горят, детей выменивают: надо кого-то в этом винить.

Как с любой правдой, есть и другая версия.

Машина Джо Медоры заезжает на тротуар, скрежещут колеса. Левая дверца открывается, выходит блондинка. Мистер Джексон слышит из столовой, где он на ходу жует завтрак, шум на улице. Он отодвигает серую сетку занавески, глядит на машину, восхищается и ей, и блондинкой, а потом поднимает глаза на окно нашей спальни. Он видит мамины руки, прижатые к стеклу, видит ее шевелящиеся губы. Видит, как из нашего дома выходит, придерживая за локоть Марину, отец, — сажает ее на заднее сиденье, гладит по голове. Марина высовывается в окошко и машет сестрам, которые столпились у окна первого этажа. Фрэн и Селеста машут в ответ, Роза плачет. Блондинка берет чемодан, кладет его на сиденье рядом с Мариной, захлопывает дверцу. Джо Медора заводит мотор.

Отец на Джо Медору даже не смотрит, и Джо не оборачивается — глядит только в зеркальце заднего вида. Впереди тупик со стеной, ему придется развернуться и еще раз проехать мимо дома. Это больше не его дом, но у него теперь есть Марина, которая сидит строго и торжественно на

заднем сиденье его машины, ее руки в перчатках покоятся на пояске плаща.

Отец кидается в дом — через парадную дверь, дальше, во двор, где и стоит, пока не стихает шум мотора. Он снимает куртку; всю ночь шел дождь, запахи слишком резкие, где-то чирикает птичка, и это бесит Фрэнки: он думает о песнях, которые услышит Марина там далеко, на Мальте, без него. Он обводит взглядом двор: на бельевой веревке висят только прищепки, на паутине между ними поблескивают капельки. На траве лежит — как врата ада — старая парадная дверь.

И он принимается за работу: разбивает дверь на куски, орудует молотком. Всё визжит и скрежещет; ему хочется орать в голос, выть что есть мочи — что угодно, лишь бы заглушить опустошенную тишину, ползущую из дома.

Он поднимает дверь: та сторона, что лежала на траве, скользкая, по ней ползают мокрицы. Пила вгрызается в дерево — Фрэнки гонит тишину прочь. Он напевает песню без мелодии, голос рвется из нутра.

Он колотит молотком до позднего вечера и не может остановиться. Выходит снова, хотя на ладонях вспухают багровые бугорки. Так и стучит в темноте. Что-нибудь да построится, думает он.

На сооружение клетки уходит месяц. Он посадит в нее какую-нибудь живность. Купит кур или, например, кроликов. Для дочек.

Мама рассказывает мне эту историю каждый раз по-разному, но заканчивает всегда одним и тем же.

На самом-то деле, Дол, он хотел распилить на куски *меня*. Как фокусник. Понимаешь, никак не мог такого вынести. Ревность! Вот что делает с человеком ревность, детка.

Ей тогда и в голову не приходило — а если и приходило, то она это держала при себе, — что он делал это из-за нас, из-за того, что в ту зиму проиграл все. Он тогда решил исхитриться и вернуть удачу.

Кроликов мы любили. Но и они исчезли. Отец убил всех до одного — кого на еду, кого из спортивного интереса, кого вообще безо всякой причины. Он даже ставки ими делал; вытаскивал из куртки, швырял их мягкие тельца на прилавок в букмекерской конторе. Они были его валютой, и он потратил их всех — за исключением тех, которых уничтожила я.

Это животный инстинкт. Так сказала мне мама, когда я ей это показала, отвела в сад и *показала*: крохотные комочки плоти, обрывки шерсти —

все, что осталось от малышей. Я не могла понять, в чем виновата, чем их обидела: я так ими гордилась. Они были похожи на сахарных мышек, что продаются в кондитерских. Мама сказала, что крольчиха съела своих детенышей. А я зря их трогала — этого делать нельзя.

Ты должна была вмешаться, сказала она.

Мне было пять лет; тогда я впервые услышала это слово. Она так это сказала, будто это было убийство.

Шесть

Ну, говори!

Га-у-чии, произношу я, растягивая на последнем слоге губы. Для меня это не новое слово, я просто передразниваю маму.

А теперь по буквам, говорит она, откусывает нитку, втыкает иголку в отворот блузки, сворачивает зашитую рубашку и кладет в стопку с неглаженым бельем.

Г-А-У-Ч-И, медленно говорю я.

Молодец, Дол. Теперь все остальное.

Я делаю глубокий вдох.

Долорес Себастьянна Гаучи. Пять лет. Ходжес-роу, дом два, Тигровая бухта, Кар…

Она прерывает меня, щелкнув пальцами.

Хватит, Дол, ты же не на Луну собралась. Ну, теперь знаешь, что говорить?

Мы сидим за столом, на котором свалены в кучу чистое белье, «Эхо Южного Уэльса», мой альбом для рисования, журнал «Криминальные новости», и я, чтобы мама разрешила мне сходить вместо нее в лавочку на углу, должна отбарабанить этот затверженный урок. Я чувствую, как она нервничает: мама вообще меня никуда не

выпускает. Я не могу играть на Площади с сестрами, не могу ходить в школу. В прошлом месяце попробовала, но побывала там только дважды. Роза говорит, это потому, что я — сплошное несчастье и меня нельзя никому показывать. Она все твердит и твердит это, пока ее не стукнут, а тогда начинает плакать. Мне кажется, это все оттого, что мама боится выпускать меня из виду, боится — вдруг я не вернусь. Марина же не вернулась. О ней запрещено говорить, но иногда, лежа в кровати и ожидая, когда ко мне подойдет мама, я слышу, как она произносит ее имя. А по ночам, когда я не сплю и жду рассвета, мама шепчет ее имя во сне. Звучит оно как вздох.

Сегодня я должна была отправиться в школу, но не пошла по болезни: у меня не проходит то, что врачи называют фантомной болью. Иногда я пытаюсь открыть дверь или взять нож и только потом понимаю, что хотела сделать это *левой* рукой. Когда отец это замечает, он хмурится и бросает на меня сердитый взгляд: *Синистра,* бормочет он, качая головой.

Доктор Рейнольдс говорит, это было бы вполне нормально, если бы раньше у меня были пальцы, но считает странным, что я помню про то, чего у меня никогда не было. Мне это совсем не странно:

я же скучаю по Марине, хотя не знала ее. Иногда мне снится, что я прыгаю через скакалку: держусь за нее *обеими* руками, она мелькает у меня над головой все быстрее и быстрее, и тут кто-то влетает в мой круг. Это Марина, и мы прыгаем вместе. Вот тогда-то я и просыпаюсь от боли.

Мама отодвигает в сторону груду незаштопанных носков и берет с каминной полки ручку. Обводит глазами комнату — ищет, на чем бы записать. Я загораживаю рукой свой альбом: мама постоянно что-то пишет, на чем угодно: на обрывке пакета из-под сахара — записку для молочника (2 с зол. крышечкой, 2 стерилиз.) или на обложке «Пособия по семейной жизни» — папе (еда в кладовке, ложусь спать). Записку моей учительнице она написала на обороте рождественской открытки: *С праздником!* Долорес ночью плохо себя чувствовала и сегодня в школу не пойдет.

Она перелистывает «Криминальные новости» — ищет, куда бы уместить список покупок, — и вдруг замирает. Подносит журнал к глазам и долго в него смотрит. Я могу разглядеть только половину страницы — головы и плечи двух гангстеров, очень похожих на друзей моего папы.

Вот так так, тихо произносит мама.

Я сижу на высоком табурете, поэтому могу видеть, что происходит на улице. Парадная дверь Джексонов, как всегда, открыта, и их пес, Джексон Джексон, лежит на крыльце — сторожит. Я стучу по оконному стеклу, уши у него встают торчком, и, увидев меня, он начинает бешено махать хвостом.

Не надо, Дол, говорит мама, не поднимая головы.

Она кладет «Криминальные новости» на стол и прикрывает снимок ладонью.

Ну, где твое пальто? — говорит она.

Когда я возвращаюсь из коридора, «Криминальных новостей» уже нет. Мама помогает мне надеть плащ. Плащ желтый, доставшийся мне после Люки: карманы дырявые, на левом лацкане круглое пятно, похожее на жука. Она приобнимает меня за плечи.

Если кто с тобой заговорит, тут же беги домой, говорит мама, завязывая мне шапку. А потом разворачивает меня к двери и уже с крыльца кричит:

Если потеряешься, подойди к полицейскому. Скажи, где ты живешь. Но больше ни с кем не разговаривай!

Я стою на краешке тротуара и пытаюсь запом-

нить все советы. Я даже не дошла еще до угла улицы, и мама — вот она, за моей спиной.

Это не забудь, говорит она и сует мне записку. Мне приходится нести ее в руке, потому что от карманов проку нет, а сумка для продуктов висит на согнутом локте. Я перехожу дорогу поздороваться с Джексоном, глажу его морду, уши, а он выхватывает у меня из руки обрывок бумаги — вечно он ищет, что бы сожрать, — и мне приходится вытаскивать бумажку у него из пасти. Она теперь рваная и вся в слюне, но я могу все-таки разглядеть краешек голубого неба, голову Шалтая-Болтая, а на обороте — косой мамин почерк. Она, похоже, отыскала-таки мой альбом. Я оборачиваюсь и смотрю на наш дом. Мама стоит у окна. Обо мне она уже забыла — изучает фотографию из «Криминальных новостей».

«Знаете ли вы этого человека?» — читает Ева вслух. Мама действует быстро — пока меня нет; она вызвала Еву из четырнадцатого дома.

Ева склоняется над столом, проводит пальцем по странице.

Который? — спрашивает она.

Вот этот, говорит Мэри. Говорю тебе, Ева, это он!

Обе изучают снимок. Джо Медора улыбается в

объектив, руки сложены на гордо выпяченной груди. Слева от него стоит, склонив голову набок, второй мужчина. Оба в шляпах: у Джо она сдвинута на затылок, виден лоб, на который падает прядь черных волос; второй же надвинул шляпу на глаза, тень от полей почти закрывает лицо. Костлявые пальцы сцеплены. Мэри того, второго, не узнает. Радуется только, что это не Фрэнки.

В чем его только не обвиняют, говорит Ева, проглядывая статью. Рэкет, вооруженный грабеж — вооруженный грабеж! Сутенерство… А это что за черт?

Это значит, что на него работали проститутки, слишком поспешно отвечает Мэри. Это французское слово.

М-да… Фрэнки покажешь?

Ни за что! — говорит мама, поджав губы. Он в последнее время вроде угомонился. А это — она показывает на фото — его с ума сведет.

А как же Марина? — спрашивает Ева вполголоса.

Она с трудом решилась задать этот вопрос.

Мэри молчит целую минуту: она открывает коробку с нитками, сует руку под катушки, под блестящие иголки. Достает со дна ножницы.

Последнее, что я знаю — они были на Мальте,

говорит она. А здесь… Как там написано? — она выхватывает из рук Евы журнал — «Недавно видели в Сиднее».

Мама вырезает страницу, складывает ее пополам, еще раз пополам.

Он на месте не сидит, говорит Ева, наблюдая за тем, как мама кладет вырезку на дно коробки с нитками. И повсюду его разыскивают.

Это да, шепчет мама, крутя ножницы в руке.

Я пытаюсь вспомнить, как зовут хозяйку лавочки; мама называет ее за глаза Занозой, но общается с ней исключительно вежливо. Я открываю дверь и тут же вспоминаю — миссис Эванс. Она на месте — стоит, навалившись на стеклянный прилавок, подпирает лошадиное лицо кулаком и беседует с миссис Джексон. Обе кидают на меня взгляд, и миссис Эванс переходит на шепот. Пока они разговаривают, я прячу больную руку в карман; миссис Джексон обязательно захочет ее посмотреть и скажет, что она выглядит гораздо лучше. Это вранье: она всегда выглядит одинаково.

Под стеклом летает муха; она ползет по подносу с ветчиной, кружит над блюдом с красными червяками фарша, расхаживает по продолговатым кускам масла. В дальнем левом углу яйца по-шот-

ландски и разнообразные колбасы, которые мухе еще предстоит найти. Я хочу успеть все купить, пока она туда не добралась — мама просила ливерной колбасы. На мраморной столешнице рядом с прилавком возвышается ломтерезка. Я только однажды видела, как мистер Эванс ей пользуется; пока колесо вращается, его жена стоит к нему спиной — будто боится, что ломтерезка притянет ее к себе и распилит на кусочки.

Ты не обращай на нас внимания, ангелочек, мы просто болтаем, говорит мне миссис Джексон. Мама тоже часто такое говорит, а еще, когда не может успокоиться — Я сейчас суну голову в духовку.

Ну, Долорес, чего желаешь?

Миссис Эванс склоняется ко мне. Ее коричневый жилет сползает с плеч; она вздрагивает и, скрестив руки на груди, поправляет его.

Этот обогреватель нисколечко не помогает, говорит она миссис Джексон. У меня ноги посинели от холода.

Наверное, парафиновый, говорит миссис Джексон, заглядывая за прилавок. От них вони куда больше, чем тепла.

Обе принюхиваются. Я протягиваю миссис Эванс записку — мятый и мокрый комок бумаги,

и миссис Эванс, по-видимому, не может разобрать, что там написано, потому что говорит:

Элис, ты только взгляни.

Они бесконечно долго ее рассматривают, а я жду, положив подбородок на прилавок.

Всё в кредит? Не будь ты дурочкой, Мэрион. Миссис Джексон снимает клеенчатую шляпку и стряхивает с нее капли. Раньше волосы у нее были мышиного цвета, а теперь они черные и блестящие; по магазину растекается резкий запах — так же пахнет утром от простыней Фрэн, когда она их меняет.

Чудесный оттенок, Элис, говорит миссис Эванс, идя к окну за буханкой хлеба. Это ты у Фрэнчи делала? Миссис Джексон треплет рукой волосы.

С ними конец, говорит она. Пришло извещение — освободить в двухдневный срок. Чертов совет — они там времени зря не теряют.

Нам тоже прислали, говорит миссис Эванс, доставая из ящика у прилавка бутылку молока. Дали срок до конца месяца. Миссис Джексон раскрывает от удивления рот.

Мэрион! Вы не можете закрыться! Ведь у нас тогда вообще магазина не останется.

Мой Грэм то же самое говорит. И тут, словно внезапно о нем вспомнив, она кричит в заднюю

комнату: Грэм! И предостерегающе сдвигает брови.

Я тебе ничего не говорила, шепчет она. А то он опять заведется.

Шуршит газета, вздрагивает шторка, и появляется, поправляя фартук, мистер Эванс. Я успеваю разглядеть кусочек комнаты: кресло, стул с прямой спинкой, на нем стоит телевизор, а за ним полки до самого потолка; все старое, потемневшее от времени. Увидев то, что для моих глаз не предназначено, я испытываю странное ощущение — мне хочется туда зайти. Мистер Эванс разглядывает бумажку, которую сунула ему жена, вытирает руки о фартук и берет кольцо ливерной колбасы.

Кошмарные новости, Грэм, говорит миссис Джексон, и думать забыв о просьбе миссис Эванс, Выселение! Ужас какой!

Да пошли они в жо… начинает он, бросает взгляд на меня, улыбается.

Фу-ты ну-ты, бормочет он и прижимает ливер к колесу, куски валятся ему в руку. Он аккуратно перекладывает их на лист вощеной бумаги.

К Новому году — будьте любезны, говорит мистер Эванс, вращая колесо. Новое помещение искать.

На то, что они предлагают, ничего не найдешь, говорит его жена, обиженно косясь на миссис Джексон, которая вертит в руках шляпку.

А что с товаром делать будете? — спрашивает она, обшаривая взглядом полки. Устроите распродажу? Мистер Эванс молча заворачивает колбасу.

Вот долги будем собирать, уж это точно, говорит он и, сняв с полки пачку «Парк Драйв», пододвигает ее ко мне. Шея у миссис Джексон краснеет.

Сигареты, наверное, тоже детям? — бросает она.

Она плоховато себя чувствует, миссис Джей, говорит он. И пишет на маминой записке одни цифры, а на свертке — другие, подчеркивает их двумя линиями. Я занята сумкой — пытаюсь надеть ее на руку, поэтому миссис Джексон берет у него ливерную колбасу и протягивает мне.

Держи, Долорес, говорит она приторным голосом. Ну-ка, давай посмотрим твою ручку.

Когда я возвращаюсь, мама сидит у огня. В мою сторону она даже не смотрит. Мне хочется спросить ее обо всем. И о том, что будет с лавочкой мистера Эванса, и о снимке из «Криминальных новостей», и почему она взяла мой альбом, и почему миссис Джексон всегда рассматривает

мою руку. Но по тому, как она сгорбилась на стуле, уткнувшись лбом в каминную полку, я понимаю, что она плакала. Мама сует носовой платок за обшлаг и смотрит, моргая, на цифры мистера Эванса.

Жулик и сволочь, говорит она и, скомкав записку, бросает ее в огонь.

* * *

Я не единственная, кто не пошел сегодня в школу: Люка, Фрэн и Роза ушли утром вместе, но Фрэн, зайдя в ворота, помахала Розе с Люкой рукой и побежала по лужайке. Когда мистер Рис вышел на крыльцо и зазвонил в звонок, она спряталась за оградой.

За школой проходит ветка железной дороги, которая делит наш район на две части. Севернее — школа. Южнее — магазины, кафе и ряды стандартных домов до самого порта. Мы живем на окраине города, а рядом с портом, у солончаков, стоят задами друг к другу старые дома, предназначенные на слом. Каждую неделю сносят по улице; все громче рев самосвалов, за ночь дома, где еще недавно жили люди, становятся грудой камней. И небо день ото дня становится шире.

Отец ждет не дождется, чтобы и наш дом снес-

ли; ему не терпится рассказать маме последние новости.

Мэри, сегодня займутся Помрой-стрит! Я видел, как они там ходили с рулеткой. Мистер Мекис сказал, он получил пятьсот фунтов! Мэри, нам выплатят компенсацию.

Мама не дает договорить, прижимает палец к его губам. Наш дом они не уничтожат, словно предупреждает палец. Потому что она все время мечтает, как раздастся стук в дверь, она откроет, а на пороге — Марина. Сейчас Марине было бы тринадцать, но в маминых мыслях она так и осталась восьмилетней девочкой, у которой вот-вот выпадет передний зуб, а плащ под пояском сбился набок.

Фрэнки больше о Марине не думает. А вот мы — его постоянная головная боль: поэтому он не спит ночами. Квартал меняется, и эти перемены он понять не может. Начинается все с нескольких заколоченных домов, с приятеля, машущего на прощание рукой из открытого кузова грузовика, затем — драки с подрядчиками, на земле перед грузовиками городского совета лежат в ряд дети, люди стоят кучками и смотрят, как чугунный шар крушит их дома. И все кругом меняется: на пустыре расположился цыганский табор, по

улицам ходят банды парней, вооруженных ручками швабр и цепями. Фрэнки слыхал, как они в «Бьюте» говорили «баб своих в обиду не дадим», «всех цыган и даго — поганой метлой отсюда», и это его пугает.

Он замечает то, чего прежде не было: мертвого щенка в сточной канаве, мальчиков Джексонов, идущих с железными цепями вразвалочку по улице; оранжевую пыль, уже въевшуюся в кожу ботинок. Молодые женщины собираются на углу и продают барахло из оставленных домов: помятый абажур, сковородку из покинутой хозяевами кухни, одежду, сваленную в картонные коробки. Ничто из этого им не принадлежит, и покупать у них никто не хочет. Они так и стоят целыми днями, переминаясь с ноги на ногу и покуривая. А вечерами те же девушки хрипло кричат Фрэнки:

Хочешь позабавиться, красавчик? Подобрал себе по вкусу?

Он обходит их стороной — все они ему известны. Несмотря на темноту и толстый слой косметики, Фрэнки узнает юную Энн Джексон и ее подружку Дениз: они учились вместе с Селестой в школе.

Поэтому Фрэнки решает сосредоточиться на старшей дочери. Он сделает для нее все, что смо-

жет. Остальные дочки подождут.

* * *

Ложатся семена добра на вспаханное поле…

Голоса, которые слышит Фрэн, доносятся из актового зала: в окнах отражается солнце, на школьном дворе ни души, и кажется, будто поет само здание. Она стоит у ограды и подпевает одними губами:

Но плодоносят все поля лишь по Господней воле.

Фрэн любит только гимны. Когда из окна зала доносится низкий голос мистера Риса — Можете садиться! — она разворачивается и идет к железной дороге, прислушивается к веселому плеску воды в лужах, к перестуку собственных шагов. Некоторые из арок моста глубокие, как туннели, другие заложены кирпичом вровень с мостом. Фрэн пересчитывает их — семейство постепенно уменьшающихся полукружий, последнее совсем крохотное, с собачью конуру: она видит сквозь него пятнышко солнечного света. Фрэн пригибает голову и проползает на другую сторону.

Можно подумать, что Фрэн идет домой, но это не так. Она шагает по тропинке вдоль канала, переходит дорогу на Патрик-стрит, чтобы обойти

лавочку Эванса: ей нельзя попадаться на глаза знакомым. Сворачивает налево, на Опал-стрит, дальше — мимо горы оранжевой земли и толстой проволоки в конце Эмеральд-плейс, туда, где начинается Джет-стрит, которую будут сносить завтра. Она стоит на груде мусора и смотрит по сторонам. В вывороченной земле роются чайки, других свидетелей нет.

* * *

Тарелки свалены в раковину, на патефоне пластинка Билли, и Сальваторе наконец может расслабиться: утренняя толчея закончилась, до середины дня народу будет немного. Он берет чашечку с кофе, ставит ее на полированный стол и бочком протискивается в кабинку рядом со стойкой. Сальваторе ни о чем особенном не думает — так, о солнечном свете, пробивающемся в дальнее окно, о том, какая сейчас погода в заливе Святого Патрика. Хорошо бы отдохнуть, съездить бы летом домой, если удастся подкопить денег.

Он кладет в чашку ложечку коричневого сахара, который сквозь пену медленно опускается на дно. В последнее время Сальваторе успокоился; Фрэнки угомонился, дела в «Лунном свете» идут неплохо: драк мало, полиция не донимает, от Джо

ни слуху ни духу. Почти как в старые времена. Сальваторе помешивает кофе.

Из кабинки двери ему не видно, но он слышит скрип пружины, потом всплеск уличного шума и тихий шелест шагов по ковру. Сальваторе поворачивает голову и, увидев вошедшего, встает. Этого человека он не знает.

Мистер Капаноне? Здравствуйте!

Сальваторе перегибается через низенький стол, чтобы пожать протянутую руку. Имени он не разобрал; мужчина говорит гладко, но быстро.

Да что вы, сидите, сидите, — машет он рукой.

Я ищу Фрэнка Гаучи. Его здесь нет? Какая жалость! Я хотел с ним побеседовать!

Сальваторе следит за тем, как мужчина разворачивается, заходит за стойку, заглядывает в кухню.

Уютное местечко! Хороший бизнес. Мистер Гаучи — хороший бизнесмен.

Сальваторе хочет напомнить мужчине, что партнер *он*, а не Фрэнки, но то, каким сухим тоном тот называет Фрэнки, как расхаживает по кафе, вселяет в него беспокойство. Сальваторе семенит за ним, прижимая чашку с кофе к груди. Мужчина ныряет под стойку и достает бутыль с газировкой.

А-а, «Содовая Лоу», читает он и машет бутылью Сальваторе. И сколько они с вас за это берут? Сальваторе пытается ответить, но его слова тонут в потоке речи мужчины.

«Лимонад Лоу», «Имбирное пиво Лоу», «Тоник Лоу»… Друг мой — он аккуратно ставит бутылку на пол у ног Сальваторе — здесь один Лоу. Но цена-то, цена какова!

Закупками занимается Фрэнки, говорит Сальваторе, наклоняясь поднять бутылку. Если у вас деловое предложение… Так кому ему позвонить? Мужчина смотрит вдаль. Он думает о чем-то другом.

Вы знаете Селесту? Его дочь?

Сальваторе кивает.

Красивая девушка, говорит мужчина. Очень красивая.

Мужчина обходит стойку, похлопывая по ней рукой.

Ну что ж! Пойду поищу его, говорит он, едва улыбнувшись. Он собирается уйти, но останавливается, роется в кармане пиджака. Достает маленькую белую карточку, протягивает Сальваторе.

Увидите Фрэнки, попросите его мне позвонить. Сегодня вечером вполне удобно, и кладет

карточку на стойку. Он неспешно проходит по ковру и исчезает в дверях. Сальваторе смотрит на визитку:

П. Сегуна, эсквайр
Производитель лучших продуктов для всей семьи.

Теперь он его узнал: Пиппо Сегуна, торговец спиртным, фабрикант, ресторатор — недавно овдовевший.

* * *

Вот как надо. Сначала берешь вот это, кладешь… нет, не так! А теперь правильно. Следующую сверху, ага, сюда. Эта немного того… недостаточно сухая, понимаешь? Должна сухой быть. А эту туточки, опа! Теперь чиркаешь… Ну! Держи, держи! Пошло. Смотри-ка! Здорово?

Фрэн, разговаривая сама с собой, разводит костер.

* * *

Время, должно быть, к обеду — у Пиппо Сегуны, когда он проходит мимо продуктовых магазинов

и кафе на Бьют-стрит, урчит в животе. Около кулинарии Усмана он останавливается, смотрит сквозь витрину, не в силах устоять против запаха солонины. Там, в глубине, есть местечко, где можно присесть, но Пиппо придется пробираться между парнями, обступившими стойку, где дают сандвичи. Это для Пиппо чужая территория, хотя его фабрика совсем рядом с портом. Очень может быть, что кто-то из этих мужчин работает у него. Мысль об этом окончательно отбивает охоту зайти: *его* они наверняка узнают, а он — никого. Пипо достает из жилетного кармана часы, открывает крышку: двенадцать часов. Можно вернуться в город, сесть в «Бухте Сегуны», а Фрэнки поискать позже. Он отходит от витрины и думает о матери — она злится уже неделю, с того момента, как он заговорил о новой женитьбе.

Что люди подумают? — заголосила она, когда он завел этот разговор. Тело Марии еще не остыло!

Мария умерла всего месяц назад.

Мама, торопиться никто не будет, пытается возражать он. Никакой свадьбы до весны, а шесть месяцев — это вполне прилично. И тебе лучше — будет кому помогать по дому.

Но мать так не считает.

Пиппо не хочет признаваться в другом — в

том, что хочет настоящую жену. За годы болезни Марии он устал от бесконечных «уток», от постоянного запаха хлорки, от сиделок с засунутой за щеку жвачкой, от их вечно спущенных чулок, от их равнодушных рук, прижимающихся к его животу в сырой и неуютной гостевой спальне. Теперь он хочет жену. Хорошенькую и молоденькую, которая будет его любить и родит ему сына. Селеста подходит идеально. Он видел ее лишь однажды, но уже сходит по ней с ума. Эти волосы, струящиеся бархатной волной по спине; глаза, встретившиеся с его глазами: один только взмах ресниц — и тут же взгляд ушел в сторону; крохотные ступни в замшевых лодочках! Пиппо знает, что мать относится к Фрэнки Гаучи неодобрительно, но ему плевать: он женится на Селесте, а не на ее отце.

Пиппо, погрузившись в мечты, идет дальше, не задумываясь о том, как выглядит со стороны. У него странная походка — выбрасывая вперед правую ногу, он подается вперед, а при шаге левой клонится в сторону, — и похож он на только что сошедшего с корабля матроса. За его спиной дети передразнивают его походку. Пиппо-Гиппо, орут они. Стоит ему обернуться, и они тут же отворачиваются, и плечи их трясутся от хохота.

Пиппо научился не обращать внимания.

В «Ресто», у Домино, он решает, что на сегодня хватит: Фрэнки найти нелегко, а Пиппо уже изрядно проголодался. Он опускается на стул неподалеку от входа, взмахом пластикового меню подзывает официантку, проводит рукой по сгибу — на пальце остаются пыль, крошки, пепел. Нет, в «Бухте Сегуны» он такого заводить не станет — слишком неряшливо. В ожидании заказа Пиппо оглядывается вокруг. Лен Букмекер, направляющийся к выходу, замечает его.

Мистер Сегуна! — говорит Лен с ухмылкой. Пришли посмотреть, как дела у конкурентов?

Пиппо сдержанно улыбается в ответ и заглядывает в меню. Тут его осеняет.

Ленни, говорит он и хватает его за рукав, вы не видели мистера Гаучи?

Лен выпячивает глаза, отнимает руку.

Вы имеете в виду Фрэнки? Фрэнки Гаучи?

Пиппо кивает, стараясь не глядеть на изуродованные пальцы Лена.

Я его давно не вижу, дружище, отвечает Лен, почувствовав на себе брезгливый взгляд и немедленно отослав его назад. Мы теперь с ним никаких дел не ведем. Он скалится, обнажая верхние зубы, и машет Пиппо рукой на прощанье.

Очень хорошо, думает Пиппо, которого беспокоило, что скажет мать, когда он сообщит, что договорился о встрече. Значит, Фрэнки бросил играть. Ей это должно понравиться.

Лен жмурится на солнце, смеется и думает: нет, я с Фрэнки больше дел не веду — с тех пор как Джо Корал открыл букмекерскую контору рядом с «Лунным светом». Но тебе, простофиля, я этого не скажу.

Пошли слухи, что Пиппо снова задумал жениться, и он готов поставить что угодно, хоть собственный нос, что этот толстяк положил глаз на юную Селесту. Лен прикидывает, сколько шансов за то, что она даст согласие? Глядя на нее и на него, ни один человек в здравом рассудке не дал бы за это и ломаного гроша. Если, конечно, не знать Фрэнки. Да, занятное пари, думает Лен.

* * *

Мы — мама и я — печем пирог. Я ответственная за начинку — черносмородиновое варенье с кусочками кислого яблока. Когда мама не смотрит, я съедаю один, и вкус у него такой резкий, что у меня сводит язык. Она, увидев мое лицо, смеется.

Это тебе урок, обезьянка! Подожди, сейчас мы их сахаром засыпем.

Обожаю это; обожаю быть на кухне вдвоем с мамой, и чтобы больше никого. Она дает мне пакет с сахаром, и первая ложка отправляется прямиком мне в рот.

Вспомни про зубы Роя Джексона, говорит мама.

У Роя вообще зубов нет, только бурые пеньки — и вверху, и внизу. Мама клянется, что это оттого, что он ничего, кроме сахарного печенья, не ест.

А еще глаз! кричу я, потому что у Роя теперь только один глаз. Для меня это важно. Мне любопытны люди, у которых раньше было по паре чего-нибудь, а теперь осталось одно. Мама смотрит на меня сурово.

В этом доме, девочка, о глазе Роя говорить нельзя, корит меня она.

Почему?

Потому что это нехорошо.

Я не понимаю, про какой глаз нехорошо — про тот, который остался, или про тот, которого нет, — но догадываюсь по ее лицу, что объяснять она не будет. Рот у нее сжимается, губы исчезают. Но это ненадолго. Мама предпочитает говорить о Джексонах, а не рассказывать сказки и читать детские стишки. Она их использует как пример того, как не надо, будто бы мы — идеальная семья.

Энн, старшая дочь, Самая Обыкновенная Шлюшка, а миссис Джексон Родилась Слабоумной и Лучше Не Стала. Однако к мистеру Джексону мама относится тепло.

Этот Артур! — говорит она. Хороший Парень, женился, бедолага, на Этой Чертовке. Иногда она беседует так со мной часами, но сегодня поет:

Мне куколку купили — Долли — Она и ходит, плачет, и? спит и говорит…

А я думаю, что это про меня.

Я не плачу! — отчаянно кричу я.

Не плачешь, говорит она и смотрит на меня так, словно только что это поняла.

Нет, Дол, ты никогда не плачешь.

Мама стирает посудным полотенцем крошки со стола, посыпает стол мукой и вынимает из миски тесто, но тут раздается стук в дверь.

Открой, Дол, говорит она, счищая с пальцев клейкую массу. Я дотягиваюсь до дверной ручки, открываю. На пороге стоят констебль Митчелл и Фрэн: он держит ее рукой за шею, а она извивается, словно рыбешка.

Отпусти, вопит она. А ну, отпусти!

И бежит мимо меня — к маме в объятия.

Э-ээ… миссис Гаучи, произносит он, покашливая. Это уже в третий раз…

Я ее посылала по делам, поспешно говорит мама. Она заглядывает в лицо Фрэн, вытирает у нее со щеки сажу и обнимает голову Фрэн обеими руками.

Мы нашли у нее вот это, говорит он, демонстрируя коробок спичек «Слава Англии».

А чем еще мне газ зажигать? — говорит мама, выхватывая у него коробок. Кремнем огонь высекать?

И глядит на Фрэн тяжелым, понимающим взглядом.

У тебя сдача осталась, радость моя? — спрашивает она. Или он и ее отобрал?

Констебль Митчелл отворачивается, улыбается пустой улице и снова глядит на маму, уже ласково.

На пустыре опасно, Мэри. Мало ли что с ней могло случиться.

Да я знаю, знаю, отвечает мама, закрывая дверь. Спасибо, Дуг.

* * *

Мама забывает про пирог: она сажает Фрэн на диван, пододвигает кресло, кладет коробок спичек на подлокотник. В комнате очень тихо, только в очаге шипят угольки — будто для того,

чтобы напомнить, в чем дело, и весело полыхает пламя. Мне хочется незаметно сбежать, но я знаю, мне этого не разрешат: я нужна в качестве живого примера.

Что ты делала? — спрашивает мама. Фрэн колупает пластиковый подлокотник. Лицо ее закрывает волна волос.

Сколько раз тебе говорить? Тебя же отправят в колонию.

Я этого не делала, говорит наконец Фрэн.

Фрэн, тебя отправят в колонию… Чего не делала?

Ничего я не делала!

Мама тянет меня к себе. Между мной и сестрой всего несколько дюймов. Наши туфли соприкасаются. Фрэн так и сидит, уставившись на подлокотник, ее пальцы ковыряют отклеившийся кусочек пластика. Глаз она не поднимает. Мы обе знаем, что сейчас последует.

Погляди на Долорес, Фрэн! Погляди на нее! Видишь? Видишь, что может сделать огонь? Мама вскидывает мою руку вверх и сотрясает перед Фрэн тем, что могло быть моим кулаком, будто костью перед собакой.

Я ничего не делала, повторяет Фрэн и разражается рыданиями. Мама склоняет над ней голову,

обнимает ее, и я вижу только волосы — они у них тускло-каштановые. Я стою между Фрэн и очагом — как страж.

Знаю, что не делала, радость моя, говорит мама. Знаю.

* * *

На стойке две чашки, появляется третья. Сальваторе автоматически наливает кофе и, пока Фрэнки рассказывает новости, подносит чашку к губам и выпивает одним глотком. Фрэнки знаком с Пиппо Сегуной; ему известны все бизнесмены в этой части города — особенно успешные. А Пиппо Сегуна очень успешен. Ну и что, что он не получил приглашения на похороны Марии Сегуны. Пошел все равно. Взял с собой Марию и Селесту, а в дом Сегуны прислал огромный венок в форме распятия. Он помнит, как ему было не по себе, когда Сегуна смотрел на них троих; помнит, как пожал ему руку — влажную и рыхлую, как свиной жир. Но до сегодняшнего дня Фрэнки и не подозревал, что Сегуна смотрел тогда на Селесту. От этой мысли у него начинается изжога. Фрэнки прижимает руку к груди, просит Сальваторе повторить рассказ, спрашивает, каким тоном говорил Сегуна, как он выглядел, долго ли про-

был. Сальваторе рассказывает все по пятому разу, даже начинает придумывать новые подробности — так ему это надоело. Фрэнки чешет грудь, она горит изнутри: это боль ревности.

Он так и сказал, Селеста? снова проверяет он. Сальваторе ставит локти на стойку, прикрывает глаза платком и медленно вздыхает.

Он сказал, Селеста очень красивая —… Фрэнки, этот человек — он же старик! Неужели ты хочешь такого в сыновья?

Фрэнки, представив себе Пиппо в качестве зятя, ухмыляется — бесплатный лимонад обеспечен.

Ему сорок один, Сал. Ну ладно, может, сорок два — он еще молод!

А тебе сколько, Фрэнки? тихо спрашивает Сальваторе.

Фрэнки знает ответ. Его нешуточное намерение отдать Селесту за Пиппо воздвигает между ним и Сальваторе каменную стену.

Отцу тяжело дается разговор с Сальваторе, но другого он и не ожидал: так он готовит себя к объяснению с Мэри.

Ни за что в жизни, говорит мама. Она жарит яичницу, и в воздухе стоит запах прогорклого масла. Куски ливерной колбасы лежат горкой на бумаге посреди стола — мы уже поужинали.

Фрэн и Люка играют во дворе — во всяком случае, играли, когда я смотрела в окно последний раз, но сейчас из окна кухни я вижу только Люку, которая стоит руки в боки и орет на кого-то в открытую калитку. Ее нельзя оставлять открытой — у нас в огороде и так ничего толком не осталось. Мама считает, это всё цыгане. Вбегает Люка.

Ма-ам, Фрэн ушла…

Не сейчас, говорит мама. Папа ужинает.

Люка от злости каменеет, разворачивается и мчится обратно во двор. Я бросаю взгляд на подоконник, где лежала «Слава Англии». Коробка нет.

Мама кладет буханку хлеба рядом с ливерной колбасой, и отец, желая сделать ей приятное, отрезает ножом кусок, кладет на толстый ломоть белого хлеба. Когда ему подают яичницу, ее он тоже ест с хлебом, ловя вилкой кусочки белка. В другой раз он бы давно закончил трапезу и отправился на ужин в «Лунный свет», но сейчас пытается убедить маму все-таки подумать.

Мэри, Пиппо — человек зажиточный, говорит он.

Да будь он хоть Крезом, я все равно не позволю ему наложить лапу на мою дочку!

Отец меняет тактику.

Я вот смотрю на Энн Джексон, говорит он, кивая в пространство. Опасное нынче время для девушек.

Энн Джексон — шлюха! Наша Селеста не такая. Сам ее спроси, говорит она, взглянув на часы на кухонном столе. Она вот-вот с работы вернется.

Вот этого отец делать не хочет. Он отодвигает стул, бочком проскальзывает к лестнице. Проходя мимо мамы, гладит ее по плечу.

Фрэнк, я сказала нет, кричит она, когда он поднимается наверх. И не надо ни с кем говорить!

Наверху Фрэнки переодевается в свой лучший костюм. Беды не будет, думает он, если я просто выслушаю предложение Пиппо.

* * *

Вечер ясный. Мама ждет у задней двери, а я сижу на корточках у нее за спиной, защищенная от ветра ее широкой юбкой. Я слышу, как болтают в столовой Роза с Люкой, то и дело разговор стихает, а потом раздается пронзительный смех Люки. Наверняка это Роза кого-то представляет: она может одними только гримасами изобразить все семейство Джексонов: кривая улыбочка для Артура, Элис с надутыми губами, Рой — один глаз зажмурен, а второй вращается вокруг своей оси.

Она и нашу семью не пощадила: подметила, как Фрэн сдувает челку со лба, как отец, когда злится, раздувает ноздри. И меня — это легко: Роза просто втягивает руку и машет пустым рукавом в воздухе.

Я не знаю, кого ждет мама — Фрэн или отца: уже скоро девять, а их обоих нет. Селеста пошла в молочный бар и вернется позже, так что мама точно поджидает не ее.

Меня не ждите, сказала Селеста, роясь в кошельке в поисках мелочи. У меня встреча.

Ясное дело, мадам, говорит мама. А как же вы домой попадете?

Селесте нравится делать вид, будто у нее есть ключ. Она вздергивает подбородок.

Есть способы, шепчет она загадочно.

Это означает, что Селеста будет стоять на улице и кидать в окно камушки, пока Роза не прокрадется вниз открыть ей дверь. Отец об Уловке, так это называется, и не догадывается, но маме все известно.

Вот разобьешь стекло, сама будешь платить, говорит она обычно наутро, когда Селеста пытается запихнуть в себя овсянку.

Какое такое стекло? — вскидывается отец, и его рука с ложкой застывает в воздухе. Мама

меняет тему.

Кто-нибудь хочет добавки? — спрашивает она, берясь за прокопченную кастрюлю. И мы тут же притихаем.

Селеста еще не знает про Пиппо. В глубине души мама хочет, чтобы Селеста порадовалась напоследок: она знает, что ждет дочку.

Мама поначалу меня не замечает: она увлечена пением. Она обычно тихонько что-то напевает, а потом вдруг, ко всеобщему удивлению, разражается громкой песней. Сейчас она что-то пыхтит себе под нос — очень похоже на генератор, что стоит на углу Площади, — и я не хочу ее прерывать. Из-за ее спины я вижу стену в конце двора, небо, полное звезд, изморозь на дорожке. Нам пора ложиться, но мама поручила это Розе. Ничего хорошего, потому что Роза не станет тратить время и помогать мне надеть ночнушку, а вот Люка такой возможности не упустит: ей всего семь, но ведет она себя так, будто это она моя мама.

Долорес, скажет она, ты надела рубашку задом наперед. Немедленно переодень как следует! А когда я высуну руки из рукавов, переверну ночнушку и снова надену, она найдет новый повод придраться:

Вот дурочка убогая! Ты ж ее наизнанку напяли-

ла! А ну, давай все заново!

Люка переглянется с Розой, и обе захохочут. Может, я не разбираю, где зад, а где перед, где лицо, а где изнанка, но понимаю, когда надо мной издеваются. Я не хочу сидеть с ними в столовой, особенно когда задняя дверь открыта и мама стоит на сквозняке. У нее такой вид, будто она сейчас уйдет и уже никогда не вернется.

Как мне хотелось убежа-а-ать,
встать на колени и моли-и-иться,

поет она громко, словно нарочно желая укрепить мои страхи.

Мам, может, ты мне почитаешь, тихонько прошу я, чтобы отвлечь ее.

Она оборачивается и смотрит на меня: от вечернего воздуха лицо у нее бледное. Она наклоняется ко мне.

Дол! Ты же замерзнешь! Где твои тапочки?

Я забыла их надеть; они под кроватью. Мы обе смотрим на мои ноги, и мама обнимает меня, берет на руки.

Ох, какая ты стала большая, стонет она. Где же эта негодница Фрэн, а?

Она крепко прижимает меня к груди и прислоняется к притолоке. В соседском дворе кто-то

возится, из уборной доносится ругань мистера Рили. Через пару минут он вопит:

Делла! Где это чертово «Эхо»?

Мама, уткнувшись мне в шею, тихонько смеется.

Этот Рили, шепчет она. Опять у него бумага кончилась, Дол. Может, ему через забор перекинуть, а?

Из сортира доносится очередной вопль, миссис Рили кричит что-то в ответ, звякает цепочка. Мама уже не улыбается, она уставилась взглядом куда-то вдаль.

Где эта сволочь? говорит она.

Я не понимаю, о чем она.

Фрэн забыла о времени. Она не думает о том, что уже поздно, а только радуется, что в темноте пламя будет казаться ярче. Фрэн тихонько пробирается вдоль домов на Джет-стрит, приглядывается, нет ли где признаков жизни. Жильцов отсюда выселили, но есть опасность, что их место заняли другие — цыгане, ищущие, что бы продать, или пьянчуги, которые пристраиваются на ночлег где угодно. Однажды Фрэн заглянула в темное окно дома в конце улицы и увидела мужчину и женщину, лежавших посреди комнаты. Теперь она сначала находит незапертую дверь.

Стоит, прислушиваясь, в коридоре.

Дверь за ее спиной закрыта, и от этого еще темнее. Фрэн ждет, пока привыкнут глаза, но все равно она вынуждена двигаться по узкому коридору, вытянув руки. Она инстинктивно поворачивает направо, в залитую лунным светом комнату. Посреди стола стоит чашка с блюдцем, перед потухшим очагом сушка для одежды, на которой висит одинокий слюнявчик: жильцы, видно, выезжали в спешке. На полу валяются бумажные пакеты и какая-то одежда. Фрэн их толком не видит, но слышит, как они шуршат у нее под ногами. Она переходит в кухню, слышит в тишине свой собственный вздох и выдвигает ящик. Пусто. Другой — пусто. Она не боится ни пространства, ни его пустоты, ни размеренного гула в собственных ушах: она ищет. В кладовке при кухне находит стул, вытаскивает его в коридор и пинает ногами, пока он не разваливается.

Фрэн собирает деревяшки и возвращается в столовую. Фонари, поскольку здесь уже никто не живет, не горят, поэтому света мало: ей приходится действовать на ощупь. Ее руки шарят по стенам, она нащупывает обрывок обоев, тянет вниз, обои отходят длинной полосой. Пальцы находят следующий кусок, она снова рвет обои.

Она работает быстро, и вот уже в воздухе стоят облака пыли, а пол усеян клоками бумаги: на костер хватит.

Сегуны живут на Коннот-плейс, не так уж далеко от нас, но это лучший район города. Фрэнки спешит по черному горбу Дьяволова моста, по пустынной улице, ведущей в тупик, и на подходе к дому Пиппо замедляет шаг. Здесь все здания одинаковые; высокие викторианские дома, у каждого железные перила до самого тротуара, широкие ступени крыльца. Большинство из них разделено на квартиры, и, проходя мимо, Фрэнки все заглядывает в полуподвальные окна. Он не удивился бы, если увидел там себя сидящего с вытянутой шеей, чтобы разглядеть прохожих. Это напоминает ему о той поре, когда он сошел на берег в Тигровую бухту.

Дом Пиппо отличить легко: только в нем все шторы одинаковые — ярко-оранжевого цвета. В каждом окне горит свет, над крыльцом светит холодным белым светом уличная лампа. Венок из плюща на входной двери кажется в ее лучах серым. Фрэнки не догадывается, зачем здесь этот венок: для Рождества рановато, думает он. На самом деле так Сегуны демонстрируют улице свое горе. Фрэнки ставит одну ногу на ступеньку

и останавливается — продумать стратегию разговора с Пиппо. Ступень под его начищенным ботинком такая ослепительно белая, словно ее залили сахарной глазурью. Но это всего лишь иней, понимает Фрэнки, когда делает шаг: он тут же заваливается вправо и едва не скатывается вниз. Выругавшись вслух, он хватается за перила и выпрямляется, но по телу успевает пробежать искорка нервной дрожи.

В какой-то момент в комнате становится слишком жарко, и Фрэн приходится переместиться в угол. Она скользит вдоль стены, глядит на тени на потолке — сначала сплошные, потом разбегающиеся в стороны — они словно ищут лазейку, чтобы скрыться от жара. Она поднимает ладони к лицу и смотрит на кости, просвечивающие сквозь кожу — как на рентгене. Скоро наступит время, когда она уже не сможет контролировать огонь — он тогда начинает творить нечто непредсказуемое; будет сверкать, жидким сиропом разливаться по полу, в одно мгновение гаснуть и вдруг расцветать золотом. Дуновение ветерка может его разозлить. Фрэн не понимает, как велик риск, но именно это и тянет ее разводить огонь: она делает свою ставку, выясняет, насколько горячее, насколько высокое пламя может выдер-

жать, и как долго. Она так похожа на отца.

Пока Фрэнки взвешивает свои шансы с Пиппо, Фрэн оценивает свои: еще минута-другая, и ей придется бежать. Она уже выучила признаки; металлический привкус во рту, по всему телу горячие иголки под кожей — как когда хочется писать. Иногда она так и делает, присев в коридоре у выхода или в сточной канаве — под завывание пламени, под сухой треск лопающихся в домах напротив стекол. Выйдя наружу, она почти парит, несется по темным улицам, и сзади нее шипит огонь, а в лицо бьется прохладный ночной воздух.

На другом конце Джет-стрит из верхнего окна высовывается Рой Джексон: он стоит на стреме, пока его брат Томми обследует дом. Ему отлично виден порт слева, лунный свет блестит вазелином на заброшенных трамвайных путях, растекается тонким слоем по солончакам вдали. Посмотрев направо, Рой начинает считать дымящиеся кучи мусора у снесенных домов на Эмеральд-плейс, бросает взгляд на лавочку Эванса на углу, там во дворе сарай, по которому легко взобраться. На улице никого, кроме Фрэн — она несется от дома напротив, как приведение в клубе дыма. Рой отшатывается от окна и смотрит, как она бежит.

И вот она появляется, перелезает через соседский забор и приземляется на нашу лужайку. Мама спускает меня с рук.

Где тебя носило, черт подери! — кричит она. Я чуть с ума не сошла!

Фрэн только ухмыляется, в глазах поблескивают серебряные искорки — она еще находится во власти недавнего потрясения. Фрэн пытается, выставив вперед локоть, проскочить мимо мамы, но мама не в силах сдержаться, она бьет Фрэн наотмашь по голове, раз, другой, третий, мчится за ней через кухню, на лестнице успевает схватить ее за ногу.

Да я тебя убью! Понимаешь, убью!

Ее рука задевает лодыжку Фрэн, стукает по ступени, потому что Фрэн уже бежит наверх, — мама устало наклоняется, садится и начинает рыдать.

Тебя упекут в колонию, причитает она.

Я сажусь рядом с мамой на ступеньку и пытаюсь ее обнять. Она утирает слезы и бормочет себе под нос:

Ее упекут, вот увидишь. Заберут еще одну.

Фрэнки дважды стучит дверным молотком и, не дождавшись ответа, прижимается носом к стеклу. Он видит только озерцо света, потом за матовым стеклом появляется согбенная фигура,

плывущая к двери, — как ныряльщик, поднимающийся на поверхность. Вид миссис Сегуны поначалу повергает Фрэнки в ужас; старуха в черном платье и шали — точь-в-точь его бабушка. Он заглядывает ей в лицо и улыбается. Она не улыбается в ответ, молча стоит и, не мигая, смотрит на него.

Миссис Сегуна? — говорит Фрэнки. Я пришел к Пиппо.

Никакого Пиппо здесь нет, говорит она, закрывая дверь.

Филиппо, поспешно поправляется Фрэнки, и тут за ее спиной появляется Пиппо. Он через голову матери снова открывает дверь.

Мама! Это же Фрэнк Гаучи — я тебе говорил, что Фрэнк придет. Фрэнк, проходите, садитесь, говорит он, махнув рукой в сторону гостиной. Миссис Сегуна хмуро глядит на двух улыбающихся ей мужчин.

Мама, можно кофе? — говорит Пиппо.

Гостиная Сегуны — обитель скорби. На изображение Пресвятой Девы накинута черная мантилья, на буфете — собрание памятных вещиц, ровно тех же, какие лежали у Фрэнки дома после смерти матери: открытый молитвенник с четками, две зажженные свечи по бокам фото-

графии с траурной лентой, одинокая белая лилия с бурыми по краям лепестками. Фрэнки очень надеется, что странный запах исходит от нее, а не от Пиппо.

Пиппо стоит слишком близко. Он думает, что Фрэнки отдает дань уважения покойной и одобрительно кивает головой. Фрэнки замечает это и, уперев подбородок в грудь, истово рисует в воздухе крест.

Скузате, резко говорит миссис Сегуна, протискиваясь в дверь с подносом. Она ставит его на комод рядом с Фрэнки, наклоняется, чтобы выдвинуть из-за стула овальный столик, с грохотом переставляет на него поднос, при этом что-то бормоча себе под нос. Уходя, она хлопает дверью.

Садитесь, друг мой! Садитесь, говорит Пиппо, и голос его громок и бодр. Выпейте со мной кофе. При мысли об очередной порции кофе к горлу Фрэнки подступает горечь. Он нащупывает в нагрудном кармане пиджака платок, но не достает его. Фрэнки ограничивается тем, что закрывает рот рукой и тихонько срыгивает в кулак. Жжение в груди усиливается. Пиппо сидит напротив; он хорошо рассмотрел Фрэнки Гаучи, заметил и капельки пота на лбу, и дрожащие руки, расслышал во взволнованной речи Фрэнки почти ушедший

акцент: перед ним паренек из Слиемы, деревенский. Пиппо решает действовать осмотрительно.

Ох уж эти дела, начинает он. Ведь мы с вами, Фрэнк, деловые люди.

Фрэнки с легкой усмешкой прикрывает глаза, чуть склоняет голову.

И мы ведь с вами мужчины, продолжает Пиппо.

Губы Фрэнки продолжают улыбаться. Он открывает глаза и видит, что Пиппо смотрит не на него, а куда-то поверх его головы: Пиппо обращается к карнизу.

Видите ли, Фрэнк, продолжает он, видите ли, деловому человеку без жены трудно.

Фрэнки кивает, подавив в себе желание обернуться и посмотреть, что именно разглядывает Пиппо.

Вы меня слушаете? После Марии… — Пиппо показывает на каминную полку, где стоит другая фотография его покойной жены. — После Марии я и не собирался жениться.

Фрэнки снова кивает. Ну, давай же, думает он, не тяни.

Но… У меня нет детей, Фрэнк…

Нет сына! — говорит, встряв в паузу, Фрэнки. Пиппо повышает голос — он еще не закончил.

Так что уж если я женюсь, то выберу ту, которую захочу.

Молчание. Фрэнки не уверен, что ему уже позволено отвечать. Пиппо вздыхает, расстегивает верхнюю пуговицу рубашки, чешет шею. Наконец его взгляд останавливается на Фрэнки.

Но Селеста! Очень красивая девушка, выдыхает Пиппо. Дочь-красавица, Фрэнк.

Фрэнки смотрит на вдавленного в кресло Пиппо, замечает завитки волос над воротом, видит, как натянулась на груди рубашка, опускает взгляд на голые щиколотки, нависшие над коричневыми кожаными шлепанцами, и больше уже смотреть не в силах. Он отхлебывает кофе — без молока. Он думает о Селесте, о том, как этот тип будет сжимать своими пальцами-сосисками ее хрупкие ручки, представляет себе, как Пиппо спускает с плеч подтяжки. Фрэнки не хочется об этом думать. Его глаза устремляются в дальний угол комнаты, где стоят дедушкины часы и горка красного дерева, забитая хрусталем и серебром. Большая комната, в коврах, теплая, с изображениями святых, которых он не может узнать, и Иисуса, которого может — у того из груди исходит сияние. Иисус протягивает Фрэнки руку, словно говоря: В чем загвоздка, Фрэнк? Отличная партия!

Иисус, но он же такой… уродливый, возражает про себя Фрэнки. Правда… правда, богатый. И не такой уж старый. Фрэнки переводит взгляд с Иисуса на Пиппо и обратно. Иисус по-прежнему улыбается. Фрэнки кивает ему. Ну ладно, мысленно произносит он. Тогда подай мне знак.

Пиппо замечает опущенные уголки рта, прижатый к груди кулак, замечает также, что Фрэнки едва притронулся к кофе. Может, он считает, что его дочь слишком молода?

Итак, Селеста. Сколько ей лет? — спрашивает Пиппо как бы вскользь, наклоняясь, чтобы налить еще кофе.

Семнадцать, отвечает Фрэнки, накрывая свою чашку ладонью.

У нее есть ухажеры? Она красивая девушка, Фрэнк. У нее есть ухажеры?

Пиппо ухмыляется, трет жирные указательные пальцы друг о друга.

Нет, отвечает Фрэнки, оскорбленный этим жестом. Она порядочная девушка.

Пиппо громко смеется, хлопает Фрэнки по колену. Кофейные чашки на подносе подпрыгивают.

Пойдите поговорите с ней, Фрэнк. Скажите ей, я добрый человек. А там посмотрим, ладно?

Выйдя на улицу, Фрэнки хватается за пери-

ла. Он окидывает взглядом сверкающие белые ступени, тяжелую черную дверь с блестящим латунным молотком и отвратительным венком; из окон льется теплый свет. Вроде бы лестное предложение — это и впрямь будет хорошая партия, — но грудь распирает, а челюсти свело. Рот Фрэнки наполняется чем-то горьким, скользким, как яичный белок, и он, покрывшись испариной, перегибается через перила. Из него потоком льется скисшее молоко и подгоревший кофе.

* * *

Фрэн наклонила голову так, что ее подбородок упирается мне в плечо, и я щекой чувствую, что лицо ее холодное, как мрамор. От волос пахнет гарью. Она прижимается ко мне, и по тому, как шевелится ее щека, я догадываюсь, что она улыбается. Я пришла попросить ее вести себя хорошо и не огорчать маму, но, во всяком случае, она здесь, рядом, и мне не хочется нарушать это состояние. Мы сидим на Розиной кровати, смотрим вдаль — за ограду, за переулок, за горящие уличные фонари — на темные ряды приговоренных к уничтожению домов под холмом. В этом свете их крыши кажутся синими. Мы чего-то ждем.

Вот увидишь, Дол, сейчас они появятся.

Она трепещет от волнения: я спиной чувствую, как бешено бьется ее сердце. Я вижу на ее ноге следы маминых пальцев, но Фрэн об этом и думать забыла — она слишком счастлива.

По лестнице барабанят шаги, звучит знакомая песенка:

Собирайте по-жиит-ки,

Розин голос становится громче, дверь распахивается:

Иголки и ни-ит-ки!

Она научилась этой песенке у мамы. Роза стоит в дверях, включает свет. Из черноты окна проступают два отражения: у Фрэн бледное лицо призрака, а мое круглое, как луна.

Что это вы здесь делаете? — спрашивает Роза. У вас что, своей комнаты нет?

Тсс! Выключи свет, машет рукой Фрэн. Мы слушаем!

Роза встает коленями на кровать, теребит Фрэн за плечо.

А почему надо слушать в темноте?

Потому что там пожар!

Как только Фрэн это произносит, воздух пронзает вой сирен: он идет волнами, и я начинаю дрожать. Мои кости ходят ходуном, и голова с

одной стороны становится горячей — как будто ее облили кипятком. Роза подпрыгивает на кровати, выключает свет, и тут внезапно возникает грандиозная вспышка, что-то грохочет на далекой улице, и ночь заливают снопы искр.

Переходя по дороге домой Дьяволов мост, Фрэнки уголком глаза замечает каскад ярко-оранжевых огней, вспышку солнца в полуночном небе. И принимает это за знак, который подал Господь.

Семь

Я еще не успела открыть глаза, а уже слышу их голоса; сегодня суббота — единственный день, когда и мама, и папа все утро дома, поэтому обычно случается скандал.

Нет, Фрэнк, говорит мама.

Да, Мэри, говорит отец. На сей раз дело точно серьезное. Мама тоже кричит.

Мы уже потеряли одну дочь!

Я не терял.

Мамин голос становится глуше: я представляю себе, как она ходит по дому, берет стопку выстиранного белья из столовой и несет его в кухню, ударяясь о стул отца, когда проходит мимо. А он сидит за столом со «Спортивной жизнью», зажав зубами карандаш, и изучает прогнозы.

Ей всего семнадцать, Фрэнк, умоляюще говорит мама.

Вполне достаточно, отрезает отец.

Он хочет сказать, что она достаточно взрослая. Мама не может долго так спорить — у отца есть способ добиться своего. Внизу становится очень тихо. Я приподнимаю голову над подушкой и вижу, что Люкина половина кровати пуста. А в углу

в своей кровати под грудой одеял лежит Фрэн. В комнату вбегает Люка и, увидев меня, подносит палец к губам.

Они снова завелись, шепчет она. Селеста замуж выходит!

Она там, внизу? — спрашиваю я.

Люка оттопыривает губу.

Ты что, совсем глупая? Она на работе.

Селеста работает в коопе, кооперативном магазине, всего шесть месяцев, но уже стоит в мясном отделе. Мама говорит, это потому, что у нее отцовская деловая жилка, но Селеста знает настоящую причину: менеджер Маркус в нее влюблен, и ему нравится, когда она на виду.

В мясе он дока, гордо говорит она, словно все должны быть в чем-нибудь доками, иначе и жить-то не стоит. Она приходит домой со свиными сардельками Бойера, с толстыми серыми брикетами грудинки, которую отец полюбил есть сырой. Что угодно, только не ливер.

Черви! — предупреждает мама, когда видит, как он, зажав в кулаке кусок грудинки, рвет его зубами. У тебя в животе заведется ленточный червь шести футов длиной!

Я не знаю, как выглядит ленточный червь. Я представляю, будто рулон мерной ленты из ма-

миной коробки для рукоделия ползет по лицам мужчин из «Криминальных новостей»; представляю, как он поднимается жирной желтой змеей по горлу отца. Может, у него от этого изжога?

Влажное шипение сковороды, запах сосисок, стук в дверь. Родители его не слышат, а Люка слышит; она одним прыжком оказывается у окна, набрасывает на голову тюлевую занавеску и вжимается лицом в угол оконной рамы.

Там полиция! Идите посмотрите!

Фрэн высовывает голову из-под вороха одеял; волосы у нее сбились набок, щеки пылают. Она пронзительно взвизгивает и снова ныряет под одеяла.

Я вижу из окна верхушку полицейской каски и плечо с номером. Рядом с ним женщина. Она без шляпы. Они оба нагибаются и смотрят в щель почтового ящика, а потом кричат в нее. Я пытаюсь разглядеть их получше, но стекло затуманилось от Люкиного дыхания. Она вытирает его тюлем, поэтому туман теперь клочковатый. Внизу открывается входная дверь.

Миссис Гаучи? — спрашивает женщина. Вы позволите зайти? Мы хотим с вами побеседовать.

Люка оборачивается и пихает меня.

Иди послушай, говорит она.

Нет, ты иди.

Ты! Я покараулю.

Покараулить — это так называется; просто Люка теперь оказывается вне опасности. Она будет ждать, пока я вернусь с новостями или меня поймают на лестнице. Я не хочу, чтобы меня поймали на лестнице. Люка знает, что это для меня значит, но ей плевать; она придвигается ко мне так близко, что видны только ее зубы.

Иди сейчас же, шипит она.

Дверь на лестницу приоткрыта. Я просовываю голову в щель и смотрю. Сквозь голубую дымку я вижу маму у раковины, прижимающую к груди тарелку. Отец сидит за столом, женщина с ним рядом, на скатерти лежит ее открытый блокнот. Полицейский стоит ко мне спиной, и я вижу только его затылок и волосы, которые примялись под каской, сама каска, похожая на гигантский чехол для чайника, стоит на столе. Они замерли как на картине. *Ее* я не знаю, но по тому, как откашливается полицейский, перед тем как заговорить, понимаю, что это констебль Митчелл.

К-хм… Это очень серьезное преступление, миссис Гаучи, говорит он. Мистер и миссис Эванс могли погибнуть.

Собственно говоря, они потеряли всё, говорит женщина.

Они пострадали? Может… — начинает говорить мама, но отец яростно хлопает ладонями по расстеленной на столе «Спортивной жизни».

Приведи ее! — кричит он. Немедленно приведи!

За моей спиной легкое, как шелк, шуршание: это Фрэн в ночнушке проскальзывает на нижнюю ступеньку.

Увидев ее, отец кидается вперед, она тряпичной куклой отскакивает от его кулака. Он держит над ней занесенную руку — если она шевельнется, снова ее стукнет, но Фрэн отлично знает, как вести себя в таких случаях. Мы все знаем. Она застывает на месте и тихонько дышит ртом. Констебль Митчелл делает шаг вперед, но мама его опережает. Она отпихивает отца, и тот ударяется спиной о дверь кладовки.

Как ты можешь? — кричит она, но не полицейскому, а Фрэнки. Докажи, что это она! Давай, доказывай!

Они глядят друг на друга, оба тяжело дышат. Мама не подняла рук, но уже раздвинула их в стороны. Она готова разорвать кого угодно.

Рой и Томми Джексоны, тихо говорит констебль

Митчелл. Г-хм… они сделали заявление, Мэри.

Он ведет ее обратно к столу и заботливо усаживает на место.

Они видели ее вчера вечером в лавочке Эвансов. Сказали, что она разводила костер.

Фрэн на нижней ступеньке судорожно глотает ртом воздух.

* * *

Прошла целая неделя с тех пор, как сгорела лавочка Эвансов. А мое воображение все рисует картины: задняя комната объята пламенем, рушатся полки, становясь из коричневых огненно-красными; полыхает фартук мистера Эванса; миссис Эванс выскакивает на улицу, вокруг ее рта кольцо густого дыма, жилет падает с плеч. Взрываются банки с горошком, масло истекает кровью, вязкими лужами расползаются круги сыра. Чего я *не вижу*, так это мальчиков Джексонов, без конца дымящих сигаретами «Парк Драйв», «Соверен», «Плейерз», «Крейвен А», хотя они отродясь ничего, кроме бычков, подобранных на улице, не курили. Не вижу и мистера Эванса, держащего двумя пальцами обугленные останки бухгалтерской книги. Теперь ему долгов уже не стребовать. И никто из соседей нашу Фрэн не

осуждает.

Нас послали наверх, в комнату, потому что вернулась социальный работник. Дверь на лестницу заперта, но мы, если бы хотели, могли бы слушать, прижавшись ухом к деревянной стене. Мы знаем, что она заставляла делать Фрэн — рисовать картинки, выбирать из книжки цвета, знаем про заявления, отчеты, рекомендации. Ева сказала маме, что вся улица считает мальчиков Джексонов лгунами, но это не новость, а еще — что Эвансы на страховку купят новый магазин в Лланрамни. Мы все это уже слышали, и слушать нам надоело. Решено, что Фрэн отправят в монастырский приют. Социальный работник рассуждает об этом так, будто это дом отдыха, но у Розы другие сведения; она говорит, что приютского ребенка видно за милю.

Тебя сначала бьют, а потом уж спрашивают. Я так полагаю, у тебя таких еще много будет, кивает она на синяк над бровью Фрэн. За несколько дней он из сизого стал ржаво-бурым. Фрэн отцовскую отметину носит с гордостью, но до ее отъезда появятся и новые. Она касается синяка кончиком пальца.

Надеюсь, сойти не успеет, говорит она. С ним я выгляжу круче.

Это ты хочешь так выглядеть, поправляет ее Роза. Приютские — они сами крутые.

Тебе знаешь что нужно… Татуировка, задумчиво произносит Люка. Она сидит на обычном месте у окна, со своей лысеющей куклой Синди, держит ее за прядь волос и стучит ей по подоконнику.

Татуировка их наверняка напугает.

Люка — она собирает переводные картинки из комиксов — поддергивает рукав пуловера: по руке ползет к локтю Человек-паук. Роза фыркает, но я вижу, что Фрэн заинтересовалась; она хватает Люку за запястье, рассматривает глянцевую картинку — темно-синие разводы, алую сеть паутины. Голова Синди вращается в тисках Люкиной ладони.

Социального работника зовут Элизабет Прис. Называйте меня просто Лиззи, говорит она маме, которая пропускает это мимо ушей и не называет ее никак. И еще она толстая, как Карлотта. А одежду, наверное, покупает в том же магазине: зеленое твидовое пальто, плотное шерстяное платье, грязно-коричневые чулки. Лиззи огорчает то, что она всякий раз застает у нас дома Еву, которая потчует маму сигаретами и ромом из чайных чашек. Она не одобряет курения и выпивания, а также нашего отца: сделала о нем пометку в

своем блокноте. Насилие в семье, написано там. А вот я ей нравлюсь — она называет меня *кариад*, это по-валлийски значит «дорогуша».

Говорит только Лиззи, она разложила на кухонном столе бумаги и перечисляет все документы, которые надо подписать.

Ну вот, Мэри, произносит она, тут — вы подтверждаете, что поняли условия договора о попечении, а это — о том, что Франческа может взять с собой всякую мелочь, которая поможет ей обжиться на новом месте.

Мэри дергает головой, будто получила пощечину.

Вы же знаете, это не навсегда, говорит Лиззи, протягивая авторучку. Вы сами сказали, что не справляетесь с ней. Подумайте об остальных, радость моя.

Без таких, как вы, она бы справилась лучше, изрекает Ева и, приподняв крышку чайника, жмурится от поднимающегося пара. Она мешает в чайнике ложкой, и брелки на ее браслете позвякивают. Лиззи не придает ее словам никакого значения и смотрит поверх бумаг на маму. Ее беспокоит взгляд Мэри, прозрачный и застывший; кто собирается отдать ребенка под опеку государства, так не смотрит. Лиззи сделала у себя

в блокноте пометку и про маму: «Психически неуравновешенна, подвержена депрессиям, одна из дочерей отдана в приемную семью на Мальту».

Она считает, что знает всю нашу историю, потому что записала ее; и она видит, что Фрэн в опасности.

Надо удостовериться, что все у нас с вами в порядке, Мэри, говорит она мягко. Расставить все точки и так далее.

Действительно, не каждый же день вы детей из дома забираете, бормочет Ева и переливает чай через край, так что он выплескивается на блюдечко. Или каждый? За день управляетесь?

Миссис Алан, говорит Лиззи.

Амиль, резко поправляет Ева.

Это дело семьи. Я уверена, что Мэри сама может разобраться, что лучше, так ведь, Мэри?

Не знаю, говорит мама.

Мэри и в самом деле *не знает*. Она ничего не знает. Только чувствует, как что-то шевелится в голове — будто череп полон осколков, и ей надо держать голову ровно, чтобы они не просыпались. Когда она пытается все расставить по местам, в уголке глаза возникает резкая пульсирующая боль. И раздается голос — он так близко,

он звенит в ушах, мешает сосредоточиться. *Кровь твоей матери! Кровь твоей матери!* Это голос ее отца.

Мэри глядит на социального работника, на ее улыбку, на ее пухлые щеки, на бумаги, ползущие к маме через стол. И протянутая авторучка — как указующий перст. Она должна что-то сказать. И пытается — шевелит челюстью, открывает рот. Ничего не получается. Мэри встает из-за стола и уходит. Они ее не останавливают. Ее никто не останавливает. На улице две женщины прячутся от дождя на крыльце почты. Они смотрят, как мама бредет по мостовой, причем без пальто, — и тут же о ней забывают. Мимо букмекерской конторы Мэри проходит как раз в тот момент, когда Мартино распахивает дверь. Он бы непременно ее увидел, но укрывается от дождя за газетой. И не замечает ее. Мэри почти бегом сворачивает с улицы к валу, что ведет к железной дороге. Она с трудом забирается по скользкой насыпи, цепляясь руками за почерневшую траву и комья глины. Поблескивает мокрая тропинка, рядом пруд, заросший тиной, вдалеке бурлит река Тафф. Но Мэри о них не думает: все мысли только о том, что с духовкой не получится, — в кухне набилось слишком много народу.

Артур Джексон, бродящий вдоль тропы в поисках утиля, замечает, как что-то катится с вала. И решает, что это куль с тряпьем. Артур озирает окрестности — хочет понять, кто его кинул, не цыгане ли, ну да ладно, иногда и что ценное найдешь. Подойдя поближе, он различает руки, ноги, видит прядь каштановых волос, и ему становится страшно. Он думает об убийствах и о Генри Фонда в фильме «Не тот человек». Артур озирается в поисках свидетелей, но тут видит ее лицо.

Мэри! Вот те хрен, Мэри!

Она вздрагивает от крика. Видит только заляпанные грязью башмаки Артура, которые надвигаются на нее. Это папка, в панике думает она. Отталкиваясь рукой и ногой, она пытается уползти, но Артур удерживает ее и все повторяет Ш-шш, ш-шш, а сам ее усаживает, набрасывает на плечи свою куртку. Колени у нее зеленые от травы и кровоточат. Он прикрывает их подолом юбки.

Мэри! Что они с тобой сделали, девонька?

* * *

Нам не разрешают видеться с мамой: она в Клетушке, и дверь закрыта. Нам всем давно пора спать, но должен прийти доктор, и нас выстав-

ляют напоказ — в подтверждение того, что все в порядке. Только ничего не в порядке.

До того у мамы был гость. Это заходил не мистер Джексон проверить, как она, но определенно какой-то мужчина. Она поднялась наверх и поставила меня у окна.

Кричи, если его увидишь, сказала мама, имея в виду отца. Лицо у нее было совсем белое, и глаза бегали; они шныряли по комнате, словно она следила взглядом за мухой. В спальне свет она выключила.

Чтобы он тебя первый не увидел, сказала она и засмеялась. Это меня напугало, не темнота — я к ней привыкла, а то, как она засмеялась. Украдкой, будто что-то скрывала. У мамы весь день был странный вид. Когда мистер Джексон ее привел, она сразу полезла в ванну. Горячей воды не было, но она все равно туда уселась, набирала в кувшин холодную воду из крана и поливала себя. Потом подписала бумаги, которые оставила ей Лиззи Прис. Потом пришел тот мужчина, и я должна была караулить. Но за окном шел дождь, а я так устала. Отца я увидела слишком поздно. Я пыталась ее предупредить.

Отец стреляет в меня глазами — бросает устрашающие взгляды, от которых мне хочется спря-

таться куда подальше, — словно догадался, о чем я думаю. Он нервничает из-за доктора: боится, что его уличат. Я не скажу — никто из нас не скажет, даже Фрэн. Я бы отправилась с ней в приют; мы бы там здорово жили, и он бы не кидал на меня этих взглядов.

Когда приходит доктор Рейнолдс, мы, убавив звук, смотрим телик. Доктор резок и быстр, от него веет зимой. Отец, ничего не говоря, ведет его сразу наверх. Весь дом притих, как будто кто-то умер. Мы напряженно прислушиваемся, глядя в потолок. В комнате висит голая лампочка, а по штукатурке бежит трещина — как вена под кожей. Доктор наступает на провалившуюся доску перед отцовской комнатой; дверь открывается и закрывается; скрипят пружины кровати.

Люка сидит у ног Розы, губы у нее плотно сжаты, глаза нацелены на экран. Там только серая рябь. Роза играет с эластичной лентой для волос — растягивает ее пальцами во все стороны; она заплетала Люке косы, но обе потеряли к этому занятию интерес. Прическа Люки не закончена: с одного бока тугая коса, с другого — копна рыжих кудряшек, которые Роза поглаживает свободной рукой. Я притулилась рядом с Фрэн. Обычно она меня обнимает, но сейчас она засунула обе руки

под свитер, пустые рукава болтаются. Волосы закрывают ей лицо. Мы не знаем, чем заняться.

Когда доктор спускается, он останавливается посреди комнаты и долго на нас смотрит. Изучает нас всех. Потом наклоняется и дотрагивается до синяка у Фрэн над бровью.

Редкий оттенок, говорит он. Еще есть?

Фрэн опускает глаза в пол и едва заметно мотает головой. Доктор Рейнолдс переключается на меня, проводит тыльной стороной ладони по шраму на моей щеке. Рука у него тяжелая и прохладная.

Стало гораздо лучше, Долорес.

Я так горда, что почти забываю, зачем он здесь. А он — нет. Он поднимает глаза и глядит на нас.

Вот что, девочки. Ваша мама очень больна. И без вашей помощи ей не выздороветь. Ей нужны тишина и покой. И никаких неприятностей. Он многозначительно смотрит на отца, который стоит в дверях — ждет, чтобы его проводить.

Когда уезжает Франческа? — спрашивает доктор Рейнолдс.

Социальный работник придет завтра, говорит отец. На Фрэн он не смотрит.

В таком случае я дам вам кое-что для Мэри, вздыхает он и открывает замок своего портфеля.

Вынимает коричневый пузырек с пилюлями и протягивает его отцу.

Только знаете, мистер Гаучи, прячьте его подальше, хорошо?

* * *

Фрэн сегодня одета очень красиво. Отец сам чистит ей туфли, усевшись на нижней ступеньке с баночкой «Черри блоссом» и бархотками. Он размазывает по туфлям матовые круги, и дырчатый узор исчезает под слоем гуталина. Потом берет щетку и долго трет их резкими, короткими движениями. Это лучшие туфли Фрэн, купленные ей для праздника Тела Христова.[3] Теперь она поедет в них в приют. Для него кожа пахнет богатством, но для меня — я наверху, гляжу, как ходит взад-вперед по стене его тень, — это запах страха. Он так же начищает свой ремень.

Селеста внизу, вместе с ним. Она встала рано, чтобы погладить Фрэн фартук. Они не разговаривают ни друг с другом, ни с Фрэн. Селеста плюет на утюг, смотрит, как шипящие шарики слюны подпрыгивают на чугуне. К приходу Лиззи Прис

---

[3] Примечания: 3

Католический праздник, приходящийся на четверг в неделю после Троицы. Обычно сопровождается пышными процессиями.

у нее и слюны не остается.

Фрэн достает из-под кровати свои сокровища; отбирает сигаретный окурок, стеклянный шарик с бирюзовым глазком, бесценный осколок изумруда и кладет их в карман. Кукол и комиксы она оставляет и впервые в жизни забывает заправить кровать. Она не возвращается наверх попрощаться.

Дверь в Клетушку остается закрытой.

* * *

Монастырь находится у подножия горы Леквик, он окружен высокой железной оградой, а вдоль дороги — раскидистые вечнозеленые деревья. Из-за них не видно, что происходит внутри, но иногда доносятся звуки — такие же, как на школьном дворе во время перемены. Летом подъездная аллея зарастает огромными кустами борщевика, из-за которых и не разглядеть позеленевшую медную табличку

Детский приют Таргартского монастыря

Природа уже готовится к зиме, поэтому Фрэн отлично видны и поле по левую руку, и низенькие надворные постройки, и большой серый

дом, который вдруг появляется перед ветровым стеклом малолитражки Лиззи Прис.

Летом на этом поле пасутся коровы, говорит Лиззи. А у матери-настоятельницы есть маленькая собачка, представляешь? Кажется, ее зовут Пенни. Или Пепе?

Фрэн ее не слушает; боль разлита повсюду. Кожа — как тончайшая бумага, и натянута так туго, что кажется, одно неловкое движение, и она порвется, и машину Лиззи Прис зальет кровью. Фрэн сидит не шевелясь и чувствует, как то, чем она сама себя наказала, пульсирует под белой тканью рукава. Если положить туда руку, ощущаешь жар, а если подвигать запястьем, это место немеет. Это — ее, и никому больше не принадлежит. Она надеется, что всё вышло как надо.

* * *

Фрэнки стоит в саду. Прекрасное ясное утро. В тени стены длинная дорожка инея, примятая трава — это явная улика. Фрэнки трет пальцы. Они грязные и жирные, на подушечках пятна гуталина. Он думает о Марине, о Фрэн, о доме, где полным-полно детей. О Мэри в Клетушке. Ему хочется чистого воздуха, солнечного света, покоя. Здесь для Фрэнки слишком холодно.

Мы лежим в кроватях, пока не решаем, что опасность миновала и можно встать. Комнату заполняет привычный запах, но вместо Фрэн, молча складывающей в полумраке простыни, никого нет. Менять ее постельное белье придется нам. Люка, откинув одеяла, морщит нос. Посреди простыни мокрое пятно, холодное на ощупь. И тут мы видим. Наволочка вся в бурых брызгах. А ниже алые подтеки. Люка дотрагивается до одной капельки, рассматривает густую жижу, вытирает палец о чистый кусок простыни. Она под большим впечатлением.

Да, видать, татуировка что надо!

Восемь

На Селесте ослепительно-розовый кримпленовый костюм, блузка с высоким воротом и белые замшевые сапожки на шнуровке. Колготки цвета загара. Выражение лица — холодно-пренебрежительное. Она входит в тот момент, когда мама помешивает в кастрюльке соус. Сегодня у Селесты свидание с Маркусом — менеджером из коопа, и есть ей совершенно не хочется. К тому же она впала в немилость. Она смотрит с безопасного расстояния на булькающий соус. Вы только на нее посмотрите, говорит Ева. Сногсшибательная красотка!

Нас в кухне полно; мама у плиты, мы с Розой и Люкой за столом, Селеста в дверях, Ева у раковины. Она пришла помочь маме, которая, похоже, позабыла, как делать самые элементарные вещи — причесываться, готовить ужин. Но любая попытка ей помочь вызывает ярость, поэтому Ева просто стоит и курит одну за одной, прикуривая друг от дружки, а окурки кидает в миску с картофельными очистками.

Сногсшибательная, повторяет Ева, чтобы заполнить паузу.

Роза пялится на Селесту, которая стоит, прислонившись к двери в кладовку. Селеста рассматривает свои сапожки, поправляет висящую на локте сумочку. Она готова в любой момент сорваться с места.

Ты ведь поешь что-нибудь, радость моя, говорит Ева, выдвигая Селесте стул.

Тайная вечеря, мрачно бормочет мама. Она выражает свое неудовольствие не прямо, но мы знаем, чем она так расстроена. Сегодня вечером Селеста должна была встретиться с Пиппо Сегуной; она согласилась на это, когда отец был дома. Но стоило ему уйти, и она изменила планы.

Ты с этой прической — вылитая Силла Блэк,[4] продолжает Ева, переходя на тему стрижки. На плите оглушительно грохочет кастрюлька с соусом.

Селеста побывала в «Плюмаже» и состригла почти всю шевелюру. То, что осталось, начесано, выкрашено в черный и блестит, как сахарная вата. Она дотрагивается до волос пальчиками, убеждаясь в их упругости. На щеках лежат два тугих завитка — будто ее черт лизнул; глаза извергают молнии. Она резко встряхивает головой

---

[4] Примечания: 4
Поп-звезда шестидесятых.

— жест, который бесит отца. Я вдруг замечаю, что у Селесты намечается второй подбородок, а уши у нее малюсенькие.

Каминную полку украшают две фотографии в золоченых рамках, и на обеих Селеста. На одной она — совсем кроха — стоит в белоснежном платьице на столе, у ее ножек два бокала с шампанским, а слева высится свадебный торт. Отец обожает этот снимок.

На другом фото Селеста прижимает к груди молитвенник. Забыв обо всем на свете, она блаженно взирает куда-то поверх объектива. Свет падает сзади и сбоку, и от нее словно исходит сияние. Какие роскошные волосы, сказала миссис Ричардз из парикмахерской на углу и попросила разрешения выставить такую же фотографию у себя в витрине. Селестино лицо красовалось там целый год, и мама, проходя мимо, обязательно останавливалась и говорила прохожим, показывая пальцем на снимок:

Знаете, а это моя дочка, как будто ее дочка жила в витрине, под желтым стеклом, а не дома. Тогда было не важно, что Селеста в жизни не побывала в парикмахерской. Точнее, до сегодняшнего дня: так она продемонстрировала неповиновение и нежелание встречаться с Пип-

по. Естественно, мама в бешенстве.

Ты только посмотри на себя! — говорит она, размахивая ложкой. Ох и достанется же тебе, девочка моя. Селеста робко садится на краешек стула, ставит сумку на колени. Уставилась на скатерть. Скатерть моя любимая — «Экзотические птицы мира», заботливо прикрытая прозрачной пленкой.

Улыбка у Евы заговорщицкая; она подмигивает нам сквозь пелену дыма.

Это же последний писк моды, Мэри, говорит она маме в спину. Я и сама бы от такой не отказалась.

И я начинаю рассматривать, у кого какие головы. У Евы волосы платиновые, только слева — янтарная никотиновая прядь. Она увязывает их в то, что называет «плетенкой», а над бровями выпускает несколько призывных завитков. Маминых волос мне не видно — на ней шапочка из пекарни; на работу она пойдет только на следующей неделе, но носит ее все время. Я знаю, какие под шапочкой волосы — тонкие, с проседью, и череп просвечивается.

У Розы и Люки волосы буйные и непокорные — как колючая проволока. Дикие заросли, так называет их мама, когда пытается укротить их

утром, перед школой. А в том, что у меня мало волос, все винят пожар. Иногда мама лижет ладонь и проводит ей по колючему ежику у меня на макушке. Когда мои волосы вырастут, они будут пшеничными.

Мама ходит вокруг стола, швыряет на него тарелки, приборы, пластиковые стаканы, в которых плещется оранжад Сегуны. Забывшись, ставит прибор для Фрэн, потом хватает вилку с ножом и, всхлипнув, бросает их в мойку; с тех пор как забрали Фрэн, прошел месяц.

Ты погоди, вот отец тебя увидит, говорит она. И бог его знает, что подумает Пиппо!

Селеста щелкает замочком на сумке, достает множество всяких штучек: компактную пудру, губную помаду, карандаш для бровей, тональный крем. Она выстраивает их в ряд — как орудия пыток.

Мама, я за него не пойду.

Пойдешь, раз отец велит. У него и так полно неприятностей.

На самом деле мама имеет в виду другое: он пойдет на что угодно, лишь бы Селеста не стала такой, как Энн Джексон.

Селеста открывает коробочку с тушью, плюет в нее, водит маленькой палочкой по черному круж-

ку, чтобы тушь размякла. Подносит кисточку к глазу, начинает быстро моргать, и, приоткрыв рот, красит ресницы. Под тяжестью туши они клонятся книзу. В уголках глаз появляются черные точки, она осторожно убирает их кончиком пальца.

Нет, вру, это Дасти Спрингфилд,[5] говорит Ева, указывая сигаретой на Селесту. Ева вдыхает и выдыхает одновременно, впивается губами в фильтр, и из ноздрей вырываются две струйки дыма. Серый столбик пепла растет, кренится и падает как раз тогда, когда она снова подносит сигарету к губам.

Кэти Макгоуэн,[6] говорит Селеста, дуя на пудру.

Но у нее же длинные волосы! — восклицает Роза.

Знаю. Селеста бросает на нее взгляд. Я про *челку*, дурочка! Она проводит пуховкой по подбородку; на стол сыпется розоватая пыль. Меня этот процесс наведения красоты повергает в священный ужас.

Посмотри-ка, Дол, шепчет она и проводит пу-

---

[5] Примечания: 5
Поп-звезда шестидесятых.

[6] Примечания: 6
Ведущая популярного телешоу начала шестидесятых.

ховкой по моей щеке. Закрой глаза.

Она делает еще пару взмахов. Немножко пахнет лилиями. Селеста подносит к моему лицу зеркальце пудреницы: шрам почти незаметен. Я протягиваю ей больную руку — чтобы подправила.

* * *

В зеркале на туалетном столике отражаются три Пиппо — вид слева, вид справа и анфас, а когда он наклоняется поправить одну из створок, его отражения множатся бесконечно. Пиппо изучает макушку, усмиряет непокорный вихор, налив на уже мокрую правую ладонь еще масла из бутылки. Приглаживает волосы, упирается подбородком в грудь, берет расческу и аккуратно проводит ей по черепу. Пиппо ищет, обо что бы вытереть руки и, не найдя ничего подходящего, берет резную ручку кончиками пальцев и открывает верхний ящик комода. Он все еще забит нижним бельем Марии: скрученными жгутом чулками телесного цвета и толстыми креповыми подвязками, панталонами и комбинациями, а еще там лежит непонятный резиновый жгут. Он берет из груды одну подвязку и подносит ее к лицу; Мария возвращается к нему запахом

Wintergreen и роз.

Внизу мать открыла в кухне воду. Пиппо слышит металлический звук струи, ударяющей о ведро, кран закрывают, урчат напоследок трубы. Он мог бы вымыть руки как следует, чтобы на них не осталось масла, но только не хочет, чтобы мама видела его в лучшем костюме и до блеска начищенных туфлях. Она, наверное, снова примется мыть лестницу: отличное занятие, когда злишься. Он слышит, как открывается парадная дверь, чувствует, как в комнату добирается поток свежего воздуха. Лучше выйти из задней двери. Он спускается на цыпочках, держа туфли в руке, морщится, когда предательски скрипит ступенька.

Эй, Филиппо! — кричит мать, распахивая дверь. Она стоит на карачках на крыльце, держа в красной руке щетку.

Ты что, уходишь? — спрашивает она.

Пиппо садится на нижнюю ступеньку и надевает туфли.

Да, мама, отвечает он и наклоняется завязать шнурки. Они выскальзывают из маслянистых пальцев, он никак не может сделать петельку.

Что? — переспрашивает она, поворачивая мокрую щетку в его сторону.

Да, мама, ухожу.

Проходя мимо, Пиппо легонько касается ее плеча. Миссис Сегуна окунает щетку в ведро с мыльной водой и швыряет ее на порог.

Филиппо! Шнурки! — кричит она, когда он, перепрыгивая через ступеньку, чуть ли не бегом бежит на улицу.

Пиппо не смотрит на ноги, не оборачивается, но когда скрежет щетки стихает, он слышит, как наконечники шнурков щелкают о сверкающую кожу туфель.

* * *

Я узнаю, что случилось с Селестой на первом свидании, от Люки. Она рассказывает скупо, время от времени вознося очи к небу, словно решая, достойна ли я того, чтобы об этом знать.

Так вот. Она встретилась с Маркусом в молочном баре, говорит она. И умолкает. Умолкает на целую вечность. Так я впервые узнаю, что такое нагнетать напряжение.

А потом что? — спрашиваю я, болтая свешенными с кровати ногами.

Дай-ка подумать. И она замирает: палец упирается в подбородок, глаза уставились в потолок. Так тихо, что я слышу, как звенит у меня в ушах,

как тихо поскуливает Джексон Джексон, как позвякивает его цепь о дверь дома номер один. Его опять выставили под дождь. Я спрыгиваю с кровати, подхожу к окну и вижу его зад, высовывающийся из приоткрытой двери, вижу, как понапрасну летает из стороны в сторону его хвост.

Что же это может стоить? — размышляет вслух Люка.

Вот гадкая! Что же из того, что у меня есть, может захотеть Люка? Получается, почти что все, кроме моего импетиго, которого никто бы не пожелал.

Хочешь моих плюшевых собачек? — предлагаю я.

Не-а, говорит она, оттопырив губу.

Разумеется, нет.

А как насчет… Она умолкает, трясет головой, думает и продолжает: А как насчет твоей коллекции «Банти»?[7]

Я дам тебе два, начинаю я, но как только она понимает, что я пытаюсь торговаться, проводит большим и указательным пальцем по губам — застегивает рот на молнию. А я так отчаянно хочу

---

[7] Примечания: 7
Комиксы для девочек.

узнать, что случилось с Селестой, что сдаюсь. Люка подскакивает к окну, плюет на ладонь и протягивает ее мне: я делаю то же самое, и мы пожимаем руки.

Люка говорит, что после молочного бара Маркус повел Селесту к себе домой, где они ужинали целым поросенком (из мясного отдела коопа) с ячменным вином и фруктовым коктейлем «Никербокер Глориз» на десерт. Эта подробность насчет ячменного вина не вызывает у меня доверия. У Люки насчет него навязчивая идея — с тех самых пор, как она нашла бутылку в буфете под лестницей и выпила половину зараз. Ладно, думаю я, пусть его, это вино. Потом они пошли в «Капитолий» на Джина Питни. Вот тогда-то Селеста потеряла сознание, и ее пришлось переносить за ограду, которую выставляют, чтобы уберечь от публики звезд вроде Джина Питни. Когда она очнулась, оказалось, что у нее украли сапоги.

Это неправда. Сапоги Селесты стоят в подвале. Они теперь не белые, а грязно-серые, шнурки буро-коричневые, а некоторые из дырочек смяты, словно по ним колотили молотком. Пластик на правом голенище пошел волнами — так бывает от огня. Левый сапог пострадал меньше, из чего можно предположить, что Селеста сидела пра-

вым боком к огню, когда случилось Это. Я точно не знаю, что Это было, но это, наверное, ужасно, когда плавятся твои сапоги. Мама говорит, надо было быть поосторожнее. Это правда: огонь для нас, Гаучи, опасное соседство.

Никто, даже Роза, не знает, откуда вдруг взялся Пиппо. Мы дотошно ее расспрашиваем. Ответ всегда один:

Я услышала, как кинули в окно камешек. Выглянула, а там наша Сел и мистер Сегуна: стоят и смотрят вверх. Я спускаюсь, а его уже нет. Маминой жизнью клянусь! и она осеняет себя крестом.

Селеста не говорит ничего. Она почти весь день сидит у себя в комнате, слушает пластинку «Всё или ничего», словно от этого зависит ее жизнь. К ужину мамино терпение лопается.

Может, ты наконец спустишься и поешь? — кричит она от двери на лестницу. А на отца не обращай внимания!

О нем мы совсем забыли. Он не видел Селесту со вчерашнего утра, и ему не терпится узнать, как прошло ее свидание с Пиппо. Он не знает ни про Маркуса, ни про сапоги; он не знает про Джина Питни. И про Селестины волосы мама ему не сказала.

Отец сидит за столом с долькой чеснока в одной

руке и ломтиком грудинки в другой. Он ест как собака, опустив голову, жадно и торопливо. К маминой стряпне он не притрагивается — мол, лучше уж питаться отбросами.

Что с ней такое? спрашивает он и глядит на маму.

Та нервно кашляет.

Она вчера виделась с Пиппо? — продолжает он. А, Мэри?

Ну, не то чтобы… говорит она. Фрэнк, прежде чем ты…

Селеста спускается по лестнице и садится за стол, с краешку. Волосы у нее — как у пугала. С левого бока, на котором она весь день провалялась, они примяты, но зато с правого — торчат во все стороны.

Отец медленно кладет перед собой на стол чеснок. Долго на него смотрит. Смотреть не на что — разве что на отстающую от него шелуху и надлом в том месте, где он отрывал его от головки. Он щелкает кончиком пальца, и зубчик вертится на тарелке. Глядит на Селесту. Потом на маму. На Селесту. На маму.

Чего ты *на меня-то* смотришь? — говорит мама. Это ее волосы, она может делать с ними все, что пожелает.

Отец наклоняется через стол, его лицо теперь совсем рядом с Селестиным. Она уставилась на рисунок на тарелке, она слышит запах его дыхания. Селеста закрывает глаза и ждет. Звук удара, оглушительный, как выстрел, разрывает тишину. Птицы на скатерти прыгают у меня перед глазами. Мама подскакивает к отцу и, прежде чем он успевает ударить во второй раз, хватает его за запястье. Она не хочет терять Селесту таким образом.

Довольно, кричит она. Я сыта по горло, Фрэнк! С меня хватит.

Я пытаюсь сосредоточиться на трепещущих сороках и зимородках, слышу, как отодвигается стул, раздаются шаги по лестнице, и вот уже Селеста наверху — сквозь потолок слышны ее рыдания.

Что он теперь скажет, говорит отец, задыхаясь от ярости. Что Пиппо о ней скажет!

* * *

Пиппо скажет, что любит ее, хоть она и не явилась на свидание. Он скажет, что их соединила судьба. Скажет, что волосы ее вырастут — как и ее любовь.

Пиппо ждал Селесту. Он стоял у «Бухты Сегуны»,

зажав в потной ладони часы, и чувствовал, как ускользают секунды, минуты, часы. Он думал, что в любую минуту из-за угла может появиться Селеста, смотрел в дальний конец Сент-Мэри-стрит, а потом оборачивался, лицо его было готово радостно просиять при ее появлении. Пиппо тренировался на прохожих. Гости, приходившие в ресторан, решили, что он чересчур уж старательно изображает радушного хозяина, поскольку он распахивал перед ними двери. Они и не догадывались, что Пиппо представляет себе, как встретит Селесту, улыбнется, пожмет ей руку, поможет снять пальто и передаст его официанту. Как проведет ее к столику, который выбрал заранее — в тихом уголке ресторана, и Массимо споет им серенаду, когда они будут пить шампанское. Пиппо велел персоналу вести себя безукоризненно, но, стоя под моросящим дождиком, спиной чувствовал их взгляды через стекло, догадывался, как они посмеиваются, смахивая салфетками крошки со скатертей.

Пока Пиппо ждал, волновался, предавался фантазиям, Селеста сидела у Маркуса, рядом с камином, ее колени были сомкнуты, а его рука играла с подолом ее юбки. Она отодвигала ее, но рука снова подползала. Взад-вперед, туда-сюда.

И все это время его язык пытался протиснуться сквозь ее сжатые зубы, и Селеста ерзала на диване. Щетина, пробивавшаяся сквозь обивку, впивалась ей в плечо; сапоги рядом с камином раскалились; пальцы Маркуса елозили по ее колготкам цвета загара. Его лицо слишком близко, очертания расплываются, но она чувствует знакомый жар и не может больше этого выносить. Помада размазана по лицу, ей нечем дышать, и наконец Селеста открывает рот. И впивается ему в нижнюю губу. Привкус крови. Она бежит.

Десять часов. Пиппо решает, что что-то случилось. Может быть, Селеста попала в аварию или ее мать снова заболела. Ему и в голову не приходит — ведь Фрэнк Гаучи дал слово, — что Селеста просто не явилась на свидание. Направляясь к нашему дому, Пиппо замечает девушку, которая бредет, цепляясь за железную решетку, по Дьяволову мосту; он переходит на другую сторону улицы, но, узнав Селесту, возвращается. Она рыдает. Увидев его, она подскакивает от изумления и тут же, понурив плечи, отворачивается. Он не знает, что и сказать. Смотрит на лужу под ее ногами.

Селеста, шепчет он, трепеща от звука ее имени на своих губах, это я, Пиппо.

Знаю, равнодушно отвечает она. Мы встречались на похоронах вашей жены. Помните?

Селеста громко сморкается в носовой платок. Она не желает на него смотреть; после того, что пытался сделать Маркус, она вообще не желает смотреть на мужчин — никогда. Ее взгляд падает на сапожки, и она вспоминает. К глазам снова подступают слезы. Пиппо тихо стоит рядом.

Мы должны были встретиться сегодня вечером, говорит он, когда она немного успокаивается. Наверное, ваша мама заболела?

Селеста наконец поднимает на него глаза. Он предоставляет ей возможность оправдаться.

Сейчас ей уже лучше, спасибо.

Пиппо застенчиво улыбается ей, лицо его опущено, и Селеста видит длинные ресницы под густыми бровями, непокорный вихор на макушке, широкие плечи его промокшего насквозь костюма, который блестит в свете фонаря. Вид у него безобидный. Селеста принимает решение.

Не хотите ли проводить меня домой? — спрашивает она, выставляя согнутую в локте руку.

* * *

Маркус изо всех сил старается исправить положение; он понимает, что сырым мясом Селестино

сердце не завоюешь, не говоря уж о прочих частях тела. Весь следующий месяц на нее сыпется рождественский поток подарков: круглая жестянка с кексом, маленькая коробочка, обтянутая черным бархатом…

Обручальное кольцо? — изумленно спрашивает мама.

Медальон с прядью его волос, отвечает несчастная Селеста.

Затем следует огромная, размером с «Монополию», коробка шоколадных конфет, некоторые даже в серебряных обертках, пара чулок от Диора и, наконец, венок.

Он что, спятил? — кричит мама. Последние пять минут она пыталась убедить Эррола, беднягу-почтальона, что у нас в семье никто не умер. Селеста разглядывает венок, равнодушно вытаскивает карточку.

«От твоего единственного и неповторимого Маркуса», читает через плечо Селесты мама.

Ты уж лучше скажи ему про Пиппо, дочка.

Пиппо тоже старается. Он уже две недели каждый день выводит Селесту на люди, как выражается Ева, всякий раз провожая ее до двери, где с поклоном целует ей руку, но никогда не покушается на лицо. Иногда он везет ее в город

на концерт или в «Долину» поужинать. Он даже лично доставляет свой товар. Фургон с надписью «Прохладительные напитки Сегуны» приезжает каждый день. Пиппо останавливается у самой нашей двери.

Сколько же вы пьете газировки, насмешливо замечает Элис Джексон.

Скажите спасибо, что вам не надо далеко ходить за своей, резко бросает мама.

Она ждет, пока другие женщины купят, что им надо, и потом уже отоваривается сама. Сейчас мы получаем все со скидкой. Мы называем его Пип-сода, разумеется, не в лицо, и никогда в присутствии Селесты — ведь для нее наступила пора обдумывания. В своих мечтах она уезжает в Лондон, становится манекенщицей, выходит замуж за рок-звезду. Мик Джаггер предпочтительнее, но она согласна и на Питера Нуна. Селеста понимает, что все это нереально. Реальны только Маркус с его мерзкими руками и жирными свертками грудинки; или же она может получить большого мягкого Пиппо и газировки сколько душе угодно. Выбор облегчается тем, что у Пиппо полно денег и хороший дом. А еще тем, что он добрый. Но больше всего помогает Селесте определиться отец. Она вспоминает о его глухой злобе, о его руках,

о дыхании, обжигающем волосы. Все решается в одно мгновение: она пойдет за Пиппо. И Селеста внезапно становится его рьяной защитницей. Как свойственно женам.

Ой, мам, посмотри, говорит она, отодвинув занавеску в столовой. Посмотри, что он сделал!

Пиппо узнал, что Селеста больше всего любит «Данделлион энд Бердок»,[8] поэтому он раскрасил одну сторону своего фургона — там теперь огромное сердце, а внутри написано: «Все потому, что Целеста любит „Ди-энд-Би!“»

Да, в оригинальности ему не откажешь, говорит мама.

А с виду такой невыразительный, замечает Ева.

Он написал неправильно! — кричит Роза.

Он просто душка, обожаю, говорит Селеста, решив казаться влюбленной.

---

[8] Примечания: 8
Газированный напиток с экстрактом корней одуванчика и лопуха.

Девять

Нас назначили подружками невесты. Платья нам сшила Ева — она очень ловко обращается с «Зингером», но с размерами что-то не то: в мое можно засунуть еще одну такую же, как я, а Люка в свое еле влезает. Стоит ей пошевелиться, и лиф трещит по швам. Свадьба завтра. Времени привести все в порядок нет.

Радость моя, ты что, поправилась? — спрашивает Люку Ева.

Да вряд ли, говорит мама, одергивая платье. Давай еще разок ее обмеряем. Дол, принеси-ка нам коробку для рукоделия.

Чтобы снять коробку с буфета, мне приходится засунуть леденец в рот. Коробка задвинута слишком глубоко, она плохо поддается, а когда я наконец ее вытягиваю, она выскальзывает у меня из рук и падает, раскрывшись, на коврик. Всё вываливается наружу. Пуговицы катятся во все стороны; мерная лента растягивается по линолеуму; булавки воткнуты в вырезку из «Криминальных новостей». Я понимаю, что маме этого видеть не надо: с тех пор как Селеста согласилась стать женой Пиппо, маме стало гораздо

лучше. Она снова готовит нам еду, даже ничего не подгорает, и она почти не ходит вечерами на заднее крыльцо петь. Роза говорит, это потому, что отец почти все время дома и у нее нет возможности. Я понимаю это как нет возможности убежать, но, когда говорю об этом вслух, Роза смотрит на меня с презрением.

Дура ты, дура, говорит она. Она ждет Джо Медору.

* * *

Если мама заметит его фотографию, все начнется заново. Я тянусь за ней, чтобы поскорее спрятать, и тут мама кричит:

Дол, давай пуговицы!

И, увидев, как трещат на Люке швы, кричит:

Стой как стоишь! Не крутись!

Я заползаю под стол и исследую пол. Клубки пыли от моего дыхания летают перекати-полем. Мама берет «Криминальные новости» за краешек и ссыпает булавки в коробку. Разворачивает листок, снова его складывает, убирает.

Есть новости? — спрашивает Ева, кидая взгляд на коробку. Мама качает головой.

Никаких, вздыхает она.

Я чувствую, как Люка молча прислушивается,

и про себя молю ее, чтобы она ничего не спрашивала, чтобы звука не издавала — иначе они прекратят разговор.

Хоть бы фотографию прислали или еще что!

Сколько времени прошло? — спрашивает Ева.

Это когда было? Мама делает глубокий вдох. В январе шестидесятого. Да, вот уж выдалось Рождество!

Пять лет, говорит Ева, и ее брови взлетают вверх.

И пять месяцев. И ведь ничего. Ничего! Может, ее и в живых-то нет.

Наступает полная тишина. Слышно только, как Ева причмокивает губами.

Но *его-то* ты видела, говорит она. Он же здесь был.

Мама смотрит на нее.

Разве? спрашивает она, и в голосе ее слышен вызов. А потом, уже с лукавинкой: А ты откуда знаешь?

Ева машет рукой.

На меня, Мэри, внимания не обращай. Это твое дело. А вдруг, говорит она наконец, твоя Марина пошла по скользкой дорожке…

Как дочка Джексонов? — спрашивает Люка.

А ты не суй нос не в свое дело, рявкает на нее

мама. И вдруг, заметив меня: Долорес! Что ты там делаешь с этим леденцом? Ты же вся перемажешься!

Да все будет в полном порядке, успокаивает ее Ева. Она обхватывает талию Люки мерной лентой. Вот увидишь, Мэри, все выйдет просто замечательно!

* * *

Сальваторе пристально изучает Фрэнки. Фрэнки-менеджер — такой же, как Фрэнки-партнер: властный, экстравагантный, он полон планов и проектов, разве что теперь Фрэнки совершенно не волнует прибыль.

Это заведение Джо, смеется он, когда «Лунный свет» пустует и выручка маленькая. Не *мое* это заведение, хабиб!

Тут Сальваторе к нему присоединиться не может: наполовину это и *его* бизнес. Но когда Фрэнки предложил устроить мальчишник в «Лунном свете», Сальваторе сдался. Как-никак, старые друзья. Главное, чтобы Джо не узнал и чтобы Фрэнки оплатил выпивку. Но платить Фрэнки не хочет *никогда*. Он споласкивает пустые бутылки из-под напитков Сегуны и выстраивает их в ряд на стойке.

Все равно Пиппо узнает, вздыхает Сальваторе.

Фрэнки берет воронку и вставляет ее в первую бутылку.

Передай-ка, говорит он, кивая на флягу с содовой Лоу. Да не узнает. На вкус они все одинаковые.

Фрэнки по очереди наполняет бутылки газировкой подешевле, вытирает полотенцем, плотно закручивает крышки. Закончив с содовой, он переходит к лимонаду. Потом настанет черед эля. Фрэнки надо платить за сегодняшнюю вечеринку и за завтрашний прием в «Бухте Сегуны». Вот вам и заполучили в семью магната. Как о свадьбе сговорились, скидки сошли на нет; теперь Пиппо поставляет все по обычным расценкам. Фрэнки до этого и дела не должно быть — у него доход фиксированный, — но у Фрэнки есть план. Раз в неделю он поднимается по лестнице следом за Сальваторе в комнату наверху, где ему выплачивают жалованье. Сумма за пять лет не изменилась, но оскорбляет не это. Приходится ведь подниматься за Сальваторе по лестнице. А потом ждать в коридоре, когда позовут, словно он случайный работник, словно он здесь никто! Сальваторе по простоте душевной понимает больше Фрэнки: тот должен быть благодарен

за то, что у него вообще есть работа. Фрэнки видит лишь, как Сальваторе копошится у сейфа, как загораживает металлическую дверцу ладонью — ни дать ни взять ребенок, прячущий от посторонних глаз свой рисунок. Со временем Сальваторе немного расслабляется, и Фрэнки замечает кое-что еще: слышит, как открывается верхний ящик стола и лязгает ключ, перед тем как Сальваторе приглашает его войти, видит, как растут или уменьшаются стопки банкнот в сейфе, снова растут и снова уменьшаются. Он внимательно изучает весь цикл. На этой неделе в сейфе полно денег. Все в порядке. Он смотрит на своего друга Сальваторе и почти готов его пожалеть. Но вид Фрэнки за работой доставляет Сальваторе наслаждение, и он снова принимается хвастаться.

Да я, да я такое, да если бы я мог сказать…

Его слова повисают в воздухе, он трясет головой — будто сам себя останавливает. Фрэнки кидает на него пылающий взгляд: заткнись, мол.

Ты закончил с едой на сегодняшний вечер? — спрашивает Фрэнки: меняя тему, он дает Сальваторе новый повод для переживаний.

Когда Сальваторе узнал, что свадьба точно состоятся, он специально отправился в «Бухту Сегуны» и объявил Пиппо, что почтет за честь

приготовить свадебный завтрак. Пиппо ему отказал.

Вы, Сальваторе, не член семьи, напомнил он, когда тот стал настаивать. Фрэнк, если захочет, может принести в ресторан какое-нибудь блюдо. Но свадебный завтрак я поручаю своему шеф-повару. Сальваторе побагровел.

Не член семьи! — буркнул он. Ваш-то повар тоже не член семьи.

Но Пиппо лишь улыбнулся и проводил его к выходу.

Сальваторе тут же вспоминает свежую обиду.

Такова традиция, Фрэнки, причитает он. Ты должен был настоять! Еду готовит семья невесты!

Сегуна прибыль делает, ехидно усмехается Фрэнки и закуривает сигарету. Струйка дыма поднимается вверх и рассеивается, когда Фрэнки машет рукой. Он заговорщицки наклоняется над липкими бутылками.

Хабиб, этот человек не такой, как мы. Он мальтиец, но городской — «бизнесмен», говорит Фрэнки, передразнивая отрывистую речь Пиппо. Он хочет, чтобы мы *платили*.

А чем тебе платить? — спрашивает Сальваторе и обводит рукой зал — потрепанный бархат

сидений, масляные пятна на стенах, протертые до дыр ковры.

Где тебе взять денег?

Фрэнки смотрит в грустные карие глаза Сальваторе. Я знаю, где их взять, друг мой, чуть не говорит он. Но я их трогать не буду. *Я* их трогать не буду.

Да не переживай ты, Сал, говорит он наконец. Найду всенепременно. Это *моя* забота, улыбается он. Не твоя!

Фрэнки берет полотенце и вытирает со стойки брызги и разводы. Комкает его и швыряет в раковину.

Мне надо идти готовить мое блюдо, говорит он Сальваторе, подмигивая. Потирает руки. Липкие.

Во дворе на задах «Лунного света» Сальваторе останавливается. Что-то его тревожит. Какие-то слова Фрэнки. Открывая засов сарая, он мысленно прокручивает в голове весь разговор. В сарае Сальваторе припрятал еду — подальше от жадного взгляда Фрэнки, от его цепких пальцев. Разноцветными волнами поднимаются запахи: розовое мясо, коричневая корочка сдобы, солонина — целая галерея. Сальваторе настолько сосредоточен на своих мыслях, что замечает крысу не сразу. Она сидит на груде пирожков с мясом

— кончик прикрывающей их кисеи аккуратно приподнят — и лакомится. Сальваторе хватает лопату, прислоненную к затянутому паутиной окну, и с размаха бьет по убегающей крысе, по пирогам, по окороку, который летит в него, как отсеченная нога, а потом еще скачет по плиткам пола. От испуга Сальваторе покрывается испариной. Он забывает о том, что его тревожило. Тяжело опершись о черенок лопаты, осматривает пол. И видит только капельки желе, поблескивающие бриллиантами на пыльном камне.

* * *

За шесть месяцев — с тех пор, как Селеста встретила Пиппо на Дьяволовом мосту, — с ее головы не было срезано ни пряди волос. И вот она сидит в «Плюмаже», на вращающемся стуле.

Ну что ж, говорит Вероника, помахивая в воздухе расческой, можем сделать что-нибудь вроде корзиночки.

Вроде чего?

Вот так, смотри! И поднимает Селестины локоны вверх.

Можно так их уложить, видишь?

Пучок, бормочет Селеста. На пучок я не согласна.

Вероника хмуро смотрит на Селесту в зеркало и отпускает волосы.

А стричь точно не будем?

Точно.

Селеста рассматривает свое отражение, волосы, ниспадающие волной. Она не спала всю ночь — вся эта суета с платьем, да еще в «Мике» ей не смогли подобрать перчатки под туфли, и, когда она глядит в зеркало, ее глаза сверкают двумя иссиня-черными гагатами. Я похожа на медведя, думает она, на гризли. Вероника чешет в затылке ручкой расчески.

Ну, не знаю, выдыхает она и смотрит за зеркало, в окно. Может, что-нибудь с цветами?

Как Королева Мая? — воодушевляется Селеста.

Ага, вроде того, говорит Вероника и машет, улыбаясь, кому-то на улице. Майская штучка.

* * *

Мы сидим в длинном коридоре и ждем Фрэн. Верхняя половина стены выкрашена кремовым, нижняя шоколадно-коричневая с волнистыми разводами. Окна напоминают мне школу: они слишком высоко, чтобы разглядеть хоть что-то, но достаточно большие, чтобы дать понять, чего ты лишен, — в них видно небо. Пока мы ждем,

оно из бело-голубого становится светло-серым. И пахнет здесь как в школе.

Фу, произносит мама. Карболка.

Она очень нервничает, все время перевешивает сумочку с руки на руку. Гладит себя костяшками пальцев по щеке, оправляет на мне одежду.

Дол, сиди ровно, она будет через минуту, говорит она, одергивая воротник моего пальто. Легонько проводит пальцем по моему колену, покрытому коростой.

Только не сдирай, просит она, хотя я и не собиралась.

Вбегает Люка, тормозит на линолеуме около нас, как заправская фигуристка.

Ну где же Фрэн? — стонет она, водя ногой во все стороны и наблюдая, как взлетают при этом складки юбки. Здесь такая *тоска*!

Скоро придет, отвечает мама. Сядь, посиди. Люка мчится в конец коридора и исчезает за углом. Мы смотрим ей вслед, и тут она возвращается, держа за руку высокую женщину в костюме.

О боже, шепчет мама. Сестра Антония.

Монахиня, улыбнувшись, подводит Люку к нам.

Мы обнаружили Лючию в коридоре, она там бегала, говорит она весело.

Я не бегала, кричит Люка. Я скользила!

Ее зовут Люка, раздраженно поправляет мама.

Сестра Антония окидывает Люку сияющим взором. Ладошки у нее сложены вместе, как у ангела.

Мужское имя! — восклицает она. Очень необычно.

Не так уж необычно, сестра Антония, замечает, поджав губы, мама.

Сестра Антония уходит, открывает дверь — коридор тут же наполняется детскими криками — и снова ее закрывает. Тишина. В следующий раз она появляется уже с Фрэн, которая несет в руке серый чемоданчик.

Вот и мы, миссис *Горси*, говорит сестра Антония. До скорой встречи, Франческа. Будь хорошей девочкой!

Она и так хорошая, отвечает мама.

Знаю, говорит монахиня и снова улыбается.

Первую минуту мы не понимаем, что делать. Мама не встает, никуда не стремится, просто сидит, раскрыв ладони, словно проверяет, не идет ли дождь. Люка изучает свежие царапины на линолеуме, а я наблюдаю за ней. Как будто не знаем, на что нам смотреть.

Ну, всё? — спрашивает мама Фрэн, имея в виду

— готова ли она идти? Фрэн кивает. Мама берет чемоданчик.

Какого он странного размера, говорит она, держа его на вытянутой руке.

Это называется несессер, лепечет Фрэн.

А-а. Ну хорошо. Они здесь многому тебя научили, говорит мама.

Она открывает огромную дверь, и мы проскальзываем под ее рукой на свежий воздух. Впереди идут мама с Фрэн; они не соединяются, но все время толкаются боками. Фрэн только одиннадцать, однако ростом она уже почти с маму. И такая же тощая. На ней форма приюта — коричневый пиджак, коричневая юбка, темные чулки. Подол юбки оторвался, и Фрэн то и дело останавливается почесать ногу — там, где ее щекочет повисшая нитка. Волосы заплетены в две косы.

Она похожа на Четыре Марии, шепчет мне Люка.

На всех сразу? — спрашиваю я.

Люка толкает меня с такой силой, что я теряю равновесие и падаю на гравий. Теперь и на втором колене будет шрам.

Нет, дурочка! — громко восклицает Люка. На самую уродливую из них.

Всю дорогу, в автобусе и приближаясь к дому,

я волнуюсь, что скажут Роза и Селеста. Фрэн действительно теперь на нас не похожа. Она кажется чужой. Даже мама разговаривает с ней вежливо, словно с соседским ребенком. Я думаю, это потому, что она все еще сердится на Фрэн за пожар и прочие неприятности, но, когда мы подходим к двери, мама крепко прижимает ее к груди и чуточку приподнимает.

Как здорово, что ты дома, ангелочек мой, говорит она.

С вершины холма Фрэнки видит, как у тротуара останавливается автобус. Он перекладывает коробку под другую руку, ощущает приятную тяжесть внутри, слышит шебуршание. Он видит, как четыре фигуры идут к Ходжес-роу; Мэри в своей манере — останавливается посреди дороги и машет детям рукой, чтобы скорее переходили. Разглядев нас, разглядев Фрэн, он бежит домой.

* * *

На верхней губе Сальваторе блестят капельки пота. Руки влажные: он несет по узкой тропинке подносы с едой из сарая в «Лунный свет». Снимает с пирожков салфетки и перекладывает их аккуратной кучкой на серебряный поднос, подправляет кончиком пальца. И опять на улицу

— за спасенным окороком. Заново вывалянный в хлебных крошках, он выглядит чудесно. Сальваторе снимает с него воображаемую соринку, обводит взглядом выставленное на стойке угощение: нарезанное мясо всех оттенков розового, пряные колбасы, прохладные кусочки огурца в чаше с уксусом, поблескивающие на тарелке стручки перца. Фрэнки сказал: Да не бери ты в голову, сделай несколько сандвичей, — но Сальваторе горд собой. Сальваторе разозлился. Он хочет показать Пиппо, как замечательно он умеет готовить. Это еда для мужчин. Здесь ничего сладкого, никаких лакомств, за исключением маленьких миндальных *бискотти*, которые он сделал к «Вин Санто».[9] Мэри их очень любит. Он глядит на *бискотти*, разложенные золотистым веером на кружевной салфетке. Надо отложить для нее несколько штучек. Сальваторе берет льняную салфетку и отсчитывает одно, два… пять *бискотти* для Мэри. Прикидывает, в какое надежное место их припрятать. Только не в сарай — он весь день его проверял, не может же и ночью сторожить. В сейф в кабинете Джо Медоры — осеняет его. Там-то крыс нет.

---

[9] Примечания: 9
Сладкое тосканское вино.

* * *

Селеста отказывается спускаться, кричит Роза, открывая дверь. Она говорит, свадьбы не будет, у нее на голове черт-те что. Фрэн! — вдруг истошно вопит она и отталкивает маму, которая загораживает Фрэн.

И что теперь? — стонет мама. Она подходит к лестнице и кричит:

Селеста! Твоя сестра приехала! Фрэнк! Фрэнк!

Он ушел на рынок, сообщает Роза, уперев руки в боки. Фрэн медленно подходит к каминной полке, берет фотографию Селесты на первом причастии.

Что у нее с волосами?

Пиппо не разрешает их стричь, говорит Роза. Вот она и пошла в «Плюмаж», чтобы их… — она подыскивает нужное слово — накрутить.

Ой, говорит Фрэн, проводя рукой по медному колокольчику.

Где Бэмби? — спрашивает она, ища глазами керамическую фигурку олененка.

Не спрашивай, отвечает Роза, но потом все-таки сообщает: ее папа разбил.

А-а, говорит Фрэн. Роза ухмыляется.

А что у тебя в чемодане? — спрашивает она,

щелкая замками.

Фрэн открывает крышку. Там две пары панталон, майка, свернутая в шарик пара белых носков, Гидеонова Библия,[10] кремового цвета карточка с написанной на ней мелким почерком молитвой и четки.

Что это? — спрашивает Люка, надевая их на шею. Бусы?

Это называется розари — четки, говорит Фрэн.

Смотри, Роза, говорит Люка, это розочка.

С ними молятся, говорит Фрэн. Папе не показывайте.

Люка прячет четки под свитер, и тут входит отец. Он ставит на пол здоровенную коробку и стоит, глядя на Фрэн. Руки его распахнуты для объятий, но она словно приклеилась к линолеуму. Мы все затаили дыхание.

Раздается покашливание. Это мама вышла из кухни.

Ты папу-то обнимешь? — спрашивает она. Фрэн обходит коробку и предстает перед отцом. Он наклоняется поцеловать ее, и она отворачивается. Глаза у нее каменные.

Ты принес Фрэн подарок? — говорит Люка,

---

[10] Примечания: 10

Библия, издаваемая и распространяемая бесплатно миссионерским обществом «Гидеоновы братья».

разглядывая коробку. И перебирает пальцами — ей не терпится коробку открыть. Мама бросает взгляд на отца. Он глядит на нее, пожимает плечами.

Нет, это на завтра, говорит мама и обходит Розу, чтобы забрать коробку. Она наклоняется, хочет ее поднять, но в коробке что-то скребется.

Ох, Фрэнк! Там что-то живое?

Он снова пожимает плечами и не успевает остановить Люку, которая открывает ее и заглядывает внутрь. Я знаю, что там. Господи, ну пусть там окажется что-то другое, твержу про себя я. Люка снова наклоняется и откидывает вторую крышку; выглядывает черно-белая головка.

Гляди, Фрэн! Папа тебе кролика купил! — кричит она.

* * *

Машина незнакомая, арендованная. На водителе серый шерстяной костюм в широкую белую полоску — модный, пижонистый, но дешевый. Проезжая мимо витрин магазинов в старом городе и Дома Моряка, он притормаживает. В это время здесь открыты только бары.

Рад, что вернулся? — спрашивает он.

На это Джо Медора не отвечает.

Удиви его, говорит он. Скажи, что дело буду вести я.

Паоло проезжает «Лунный свет» и останавливается за первым поворотом.

На вечеринку не заглянешь?

Джо протягивает руку за ключами. Паоло либо окончательно глуп, либо ведет свою игру.

Это бизнес, говорит Джо подчеркнуто твердо. У меня дела. С Фрэнки.

Паоло выходит из машины, идет легкой походкой по тротуару. Он чувствует на себе взгляд Джо.

Нет, босс, говорит он чуть слышно, это у меня дела с Фрэнки.

* * *

Фрэн сидит, натянув юбку на колени, и греется у огня. Она сняла чулки, чтобы мама их заштопала, и я вижу ее голые икры в тоненьких прожилках. Фрэн держит на коленях кролика, гладит его мягкий белый живот, меховые подушечки лапок. Он лежит неподвижно, с закрытыми глазами, склонив голову набок. У нее никогда не было кролика, своего собственного: другие — которые жили в клетке в саду — не в счет. О них она не хочет думать, поэтому сосредотачивается на

том, чем кормить этого. Можно сходить в лавку Эвансов и попросить их отдавать ей подгнившие овощи. Тут она вспоминает, что лавка сгорела, а ей все равно надо будет возвращаться в монастырь. Мать-настоятельница не разрешит ей держать там кролика, да и большие мальчишки наверняка придумают какую-нибудь гадость, как уже было с той кошкой. Кролика придется оставить здесь.

Ему нравится, говорит Ева, зажав губами шпильки. Она закалывает Селесте волосы, крутит ее голову во все стороны, но глаза ее устремлены на Фрэн.

И как же ты его назовешь?

Джоуи, говорит Фрэн, водя пальцами по лапкам. Селеста издает громкий вопль: Ева, вздрогнув, нечаянно уколола ее шпилькой.

Извини, радость моя, говорит она и откашливается. А может, Флаффи? — предлагает она. Или Флопси?

Джоуи! Джоуи! Джоуи! — Люка, подпрыгивая на стуле, кричит так громко, что в дверях появляется мама. За ней следом отец.

А ну, прекратить голосить! Немедленно! — орет она на Люку. А ты, мама оборачивается к Фрэн, унеси его во двор.

На отце лучший костюм. Он не улыбается. Его рука ползет вверх, по маминой шее, туда, где волосы мягкие и тонкие, и тянет их вниз. Костяшки его пальцев побелели от напряжения. Я нутром чувствую, как из нее выходит воздух, но больше смотреть не могу; не могу смотреть ни на кролика, ни на маму, ни на отца, ни на Фрэн. Так мне скоро вообще некуда будет смотреть.

Ну вот! — говорит Ева Селесте. Теперь ты как картинка!

Селеста встает со стула и разводит руки в стороны. Она смотрит в зеркало над камином — склоняет голову набок, опускает ее, задирает подбородок. Затем оборачивается, берет пудреницу с зеркальцем, чтобы увидеть, что у нее сзади.

Очень здорово, Ева, говорит она. Ты меня спасла.

Только учти, завтра придется все повторить. Ночь прическа не продержится.

Ева ухитрилась при помощи невидимок, шпилек и атласных бутончиков сделать то, что не сумел весь персонал «Плюмажа». Селеста похожа на Золушку из моей книжки волшебных сказок. Настоящая принцесса. Пиппо в обморок хлопнется, когда ее увидит. |

Рот у Селесты приоткрыт, глаза суровые. Она

оборачивается к маме и отцу.

Что скажете? — спрашивает она.

Отец равнодушно кивает.

Вылитая мать, говорит он.

На комплимент это не похоже. Мама высвобождается из-под его руки.

Что ж, леди, говорит она Фрэн. Унесите его.

Фрэн сует босые ноги в сандалии и проскальзывает мимо отца. Он берет со стола шляпу и нахлобучивает ее на голову.

Фрэнк, говорит мама, кивая на кролика. Помни, о чем я сказала.

Всенепременно, говорит он. Всенепременно.

* * *

Сальваторе стоит в полутемном сарае, в одной руке у него метла, другой он придерживает дверь. Он обыскал все, но крысу так и не нашел. Сальваторе боится, что она сбежала, спряталась под барной стойкой или в углу одной из кабинок и выскочит как раз в тот момент, когда Пиппо обратится к гостям с речью. Он открывает дверь пошире, но уже стемнело: он едва различает бетонные плиты дорожки, где уж тут крысу разглядеть. Сальваторе с облегчением вздыхает, уверяет себя, что точно убил бы ее, если бы

увидел. Всенепременно, шепчет он, проверяя собственную смелость. Всенепременно, повторяет он снова, вспомнив вдруг Фрэнки. Так он и сказал. Всенепременно. Будто в последний раз. Сальваторе видит, словно это было вчера, как катится по полированной стойке последняя монета Фрэнки, видит сгоревший дом, больничную палату с плачущим младенцем. Сальваторе понимает, что у Фрэнки есть План. Он ставит метлу рядом с лопатой, они обе валятся на пол. В комнате над «Лунным светом» один-единственный раз приподнимается штора. На дереве щебечет птичка. По улице едет машина.

* * *

Я иду по доске. Она скользкая, и в темноте мне трудно удержать равновесие. Я дважды падаю в хлюпающую грязь, но на это никто не обращает внимания, потому что все мы сосредоточены на Фрэн и кролике, которого она прижимает к груди. Она медленно идет впереди меня. Из-за ее плеча поблескивают красные глаза кролика. Доска кончается, дальше лежат кирпичи, на которые нужно наступать, но их разглядеть трудно, потому что мы уже в дальнем конце сада. Старая клетка стоит у стены. Я здесь не играю — с тех пор,

как Роза с Люкой меня в ней заперли. Там лежат солома и бумага, а иногда бывают крольчата. Я не должна вмешиваться ни во что.

Отодвинься, говорит Роза. Мне ничего не видно. Она нагибается, чтобы открыть квадратную дверцу, возится с задвижкой. Люка отталкивает меня, потому что я загораживаю свет из кухни. Если посмотреть назад, кажется, что мы так далеко от дома. Я вижу маму в окне, она движется в прямоугольнике света, как актриса на экране. Конец мая, но здесь холодно. Здесь часто бывает холодно.

Фрэн запускает кролика в клетку, аккуратно приподнимает его задние лапки, чтобы он не задел порожек. Он мечется по своему новому дому, хочет прыгнуть назад ей на руки. Роза захлопывает дверцу.

Поцарапалась? — спрашивает Люка, заметив, что Фрэн смотрит на запястье.

Ерунда, отвечает Фрэн и трет руку. Она подносит ее к полоске света, чтобы мы разглядели две длинные ссадины. Татуировку свою она нам еще не показывала.

Ба-бах!

Мы все поворачиваемся к дому. Я представляю себе взорвавшуюся газовую плиту, страшных

людей в шляпах — как из «Криминальных новостей», но тут слышу мамин смех, слышу, как Ева кричит: За тебя, Сел! — слышу глухой стук кружек. В дверях появляется высокая фигура Евы.

Дети, сюда! — зовет она. Мы пьем за вашу сестру!

Забыв и про кролика, и про доску, мы бежим по грязи к дому.

* * *

В «Лунном свете» толпы мужчин в костюмах: Бонни Ферруджиа, крупный лесоторговец; Марио Кордона, которого считают будущим лорд-мэром; на голову над другими возвышаются близнецы О'Коннелы. Они настоящие красавцы с шелковыми платками вместо галстуков. Один только Лу Перуцци, которого в Кардиффе называют мистер Металл, в будничном костюме. Сальваторе помнит Кордону по фотографии в «Западном курьере», а вот Перуцци не узнает. Когда он замечает, как тот подходит к стойке и берет два бокала шампанского, то хватает этого невысокого мужчину за рукав, из которого торчит обтрепанная манжета рубашки.

Одного, может, достаточно? — язвительно замечает Сальваторе. Он ищет глазами Фрэнки — тот,

стоит ему кивнуть, вышвырнет этого нахала вон. Перуцци изумленно взирает на него.

Ты с Лу Перуцци говоришь! — заявляет он, тыча пальцем в грудь. Сальваторе смотрит на него сверху вниз: воротничок засаленный, на рубашке не хватает пуговицы, она расходится на груди, и видна белая майка.

А-а, Лу! — говорит внезапно появившийся с ним рядом Фрэнки. Возьмите еще шампанского. Сальваторе, друг мой, нам надо поговорить.

Проходя между гостями, он вежливо улыбается, но Сальваторе чувствует, как от его спины веет яростью. Он проходит за ним через кухню, выходит во двор. Фрэнки захлопывает дверь.

Ты идиот! — орет он. Перуцци — важная птица.

Оборванец! — орет в ответ Сальваторе, которого бесит одна мысль о том, что грязные пальцы Перуцци касаются его угощения. Посмотри, сколько он пьет!

А кому какое дело? Мне вот — никакого! Пусть пьет!

А деньги, Фрэнк? Шампанское ведь…

Фрэнки отворачивается — будто собирается сплюнуть, и вдруг хватает Сальваторе руками за лицо. Говорит, медленно, как ребенку:

Ты — просто — наливай им, произносит он тихо. Ради меня, Сальваторе. Просто обслуживай их.

Фрэнки разворачивается, поводит плечами и закрывает за собой дверь.

Сальваторе глядит на россыпь звезд. В небе словно дырки пробили. Как Фрэнки с ним разговаривал! Он стоит у задней двери, ждет, пока уляжется гнев. Наконец дыхание успокаивается. В окно кухни он видит, как расступается при появлении Пиппо толпа. Фрэнки приветствует будущего зятя коротким объятием. Сальваторе думает о том, какая это жертва для Фрэнки — отдать красавицу дочь за этого человека. Да, это важный шаг, думает он, смягчившись. Важный для всей семьи.

* * *

Роза выпивает залпом воду, вытирает комбинашкой стакан. Ставит его на пол у кровати.

Что ты делаешь? — спрашивает Люка, исследуя пальцем недра носа.

Устроим сеанс? — говорит Фрэн. В приюте мы все время этим занимаемся.

Нет, говорит Роза, пригнувшись к полу. Мы будем слушать!

Мы все слушаем. Вообще-то, чтобы услышать

Еву — мама зовет ее Сиреной, — никаких приспособлений не нужно, но остальные голоса разобрать трудно. Роза издает те же звуки, что и доктор Рейнолдс, когда слушает мне легкие.

Аxx, выдыхает она. Аxx, ухх.

Дай мне послушать! — кричит Люка и, соскочив с кровати, садится на корточки, прикладывает ухо к стакану, а сама смотрит на нас. Лицо ее заливает краска. Она вскидывает брови.

Что они говорят? — шепчу я.

Тсс!

Меня пусти!

Я тоже хочу послушать, но Люка прячет стакан за спину.

Они сказали — она останавливается подумать, водит глазами из стороны в сторону, соображает, — Ева сказала: «Сел, тебе надо будет делать с Пиппо секс!» Люка издает пронзительный вопль и валится на кровать; Роза хохочет и колотит себя по ляжке. Очевидно, это очень смешная штука. Только на Фрэн это не производит никакого впечатления.

Тебе придется заняться сексом, говорит она тихо. Она так сказала.

Видать, вы в приюте тоже этим занимаетесь? — презрительно фыркает Роза.

Некоторые — да. Я занимаюсь другим.

Татуировками, да? — спрашивает с невинным видом Люка.

Да, отвечает Фрэн, попавшись на удочку.

* * *

Сальваторе, облокотившись на стойку, потягивает «Адвокаат». В зале множество людей, большинство из которых он не знает. Красивые девушки со свежими личиками, высокими прическами и коралловыми губками виснут на мужчинах или друг на друге. Иногда он, смущенно улыбаясь и словно проглотив язык, наливает им выпивку или же обносит закусками, медленно проходя сквозь нежный аромат духов и сигарный дым. Пиппо Сегуна зажат в углу и, склонив голову набок, пытается прочесть надпись на граммофонной пластинке. Фрэнки разговаривает, прислонившись к кабинке; руки его описывают круги, в нужных местах рубят воздух. Он беседует с кем-то, кого Сальваторе не узнает. Сальваторе завороженно смотрит на этого мужчину, на то, как он слушает Фрэнки, кивает, изредка улыбается. Лицо у него сосредоточенное, но взгляд устремлен в сторону, на дверь с надписью: «Служебное помещение». На нем костюм

в полоску, и полоски, когда он поводит рукой, переливаются. Он не может стоять спокойно, непрерывно поправляет волосы, нервно приглаживает макушку. Пиппо, маячащий как раз за мужчиной, машинально повторяет этот жест. Сальваторе догадывается, что они братья.

Сальваторе! восклицает Фрэнк, заметив его. Иди познакомься с Паоло. Сальваторе жмет ему руку. Рука влажная. Мужчина совсем не нравится Сальваторе.

* * *

Сначала Фрэн показывает левую руку. От сгиба локтя почти до запястья тянется длинный широкий шрам, бело-голубая полоса на смуглой коже. Его пересекает надрез покороче, уходящий вниз: из этих двух линий получается крест. Кожа на шрамах в мелкий рубец, как от ожога, — это потому, что тут много раз проводили ножом. Фрэн разрешает Люке потрогать их пальцем, а потом заворачивает второй рукав. На сей раз татуировка чернилами; от букв идут синие подтеки. Там написано: «ФРЭН».

Это мне сделал Бернард, тушью.

Это твой парень? — спрашивает Роза, не сводя с надписи глаз.

Да, только маме не говори, отвечает Фрэн.

Почему? — спрашиваю я.

Фрэн опускает рукава и складывает руки на груди.

Ей это не понравится, говорит она. Он полукровка.

* * *

Фрэнки тащит девицу сквозь толпу, крепко держа ее за руку, а она, спотыкаясь, идет за ним, к стойке и Сальваторе.

Сал! — орет он. Поздоровайся с Ритой!

Сальваторе смотрит на нее. Полненькая, темненькая, волосы до локтей прикрывают ее обнаженные руки. На шее золотой медальон.

Джина, обиженно поправляет она. Меня зовут *Джина*.

Дай ей выпить, велит Фрэнк, пропустив ее замечание мимо ушей.

Она протягивает Сальваторе бокал, и тот ласково ей улыбается. Все они Риты. Софии, Джины. Девушки меняются, а имена остаются те же.

Я бы хотела шампанского, говорит она.

Сальваторе наклоняется взять очередную бутылку и не видит, как быстро проходит через зал Паоло. Сальваторе снимает фольгу, откру-

чивает проволоку, вынимает пробку, наливает. Пена бьет по стенке бокала. Ему нравится, какое это впечатление производит на девушек, как напряженно они следят за поднимающейся до самых краев пеной, как, делая первый глоток, закрывают глаза. Сальваторе всегда за этим наблюдает. Не видит он только того, как дверь с надписью «Служебное помещение» открывается и закрывается.

На то, чтобы найти ключ от сейфа, у Паоло уходит минута. Еще минута, и карманы его забиты деньгами, а рот — *бискотти*, и он снова стоит рядом с Фрэнки. Фрэнки смеется, он глядит на Сальваторе, все четверо поднимают бокалы и чокаются. На Паоло ему смотреть не нужно, он и так знает: теперь он может вести дела с Джо.

* * *

Я не сплю, жду, когда подойдет мама. Я не могу заснуть, пока не спрошу у нее, что такое полукровка. Потому что мы такие и есть: нас так называют в школе. Непонятно, почему маме не понравится парень Фрэн, раз он такой же, как мы. Я пытаюсь сосредоточиться на половинках и целом, но слышу через стену спальни, как Роза разговаривает с Селестой. Она, наверное, рас-

сказывает про татуировки Фрэн и про ее парня, потому что Селеста то и дело восклицает: Боже ты мой! Вот мама узнает! Потом все стихает, только Люка скрипит во сне зубами, а с кровати Фрэн доносится какое-то бормотание. Я знаю его — так делает Карлотта, когда молится. Эти звуки меня быстро утомляют.

Амулет

Вечером в кухне темно. Я об этом забыла. И мой путь по лестнице кажется короче — несколько шагов вниз, поворот направо, еще три ступеньки, последняя из которых шире других. На нижней ступеньке можно сидеть. И я сажусь. Тут неудобно и холодно; сверху дует. Остальные спальни я не проверяла. Может, где окно открыто или рама неплотно прилегает. Очень неудобно сидеть на лестнице, спиной к сквозняку. Не к чему прислониться. Дверь, отгораживавшую лестницу, убрали. Вот в чем разница: прежде можно было о нее опереться. И петель нет — только две выемки вверху и внизу косяка. Я кладу руку на ту, которая ближе ко мне. Ее закрасили. Под моими пальцами застывшие капли краски кажутся запиской, написанной по Брайлю. Мама это красила или нет? Идея двери, отгораживающей верх от низа, мне теперь нравится.

Мне хочется бежать отсюда прочь. Хочется обратно в свою теплую квартирку с желтой кухней. Комната выглядит такой пустой. А в моей памяти она полна людьми, дымом, запахом еды, разговорами. Наверное, маме кто-то помогал по

хозяйству; а может, социальные работники все убрали. Мне надо просмотреть ящики комода, пока остальные не приехали, разобрать все: если что-то и есть, я хочу найти это сама.

Точно помню, эта комната была солнечной: утром здесь было *светлее*. Я пытаюсь воссоздать в памяти — при надвигающейся темноте, на сквозняке, — как все было в день свадьбы.

Что-то меня будит, но что, я понять не могу; то ли какой-то шум, то ли крик. Еще рано, но я очень возбуждена: я еще никогда не была подружкой невесты. Мама спит, и когда я выскальзываю из-под ее бока, она поворачивается к Люке. Я тихонько спускаюсь вниз. По потоку воздуха я понимаю, что дверь открыта, только вот запах доносится какой-то странный, немного железный — жаркий и резкий. И почему-то влажный.

Кухня залита солнцем, задняя дверь приоткрыта; словно то, что снаружи, пробралось внутрь. Струя воды бьет в раковину, и в этой струе играют солнечные блики. Я слышу пение птиц, чувствую дуновение теплого ветра, все такое летнее и замечательное, кроме этого запаха.

С последней ступеньки я вижу все: отец засунул руки в кролика. Он тянет за мех, вытаскивает тельце. Шкурка выворачивается наизнанку. А

под ней — блестящая рубиновая плоть.

Увидев, что это всего лишь я, он улыбается.

Иди посмотри, говорит он, словно собирается показать фокус — достать монетку из-за уха или кролика из окровавленной шкурки.

Гляди, сердце.

Он проводит рукой по голой голове, останавливается чуть пониже шеи. Грудная клетка вздрагивает раз, другой. На влажной поверхности играет солнце.

Смотри, говорит он, совсем свежий! Я приготовлю на свадьбу специальное блюдо. Он тянет за мех, тот со скрипом сползает с задних ног. Отец берет нож и отрубает лапки. Одну лапку он откладывает в сторону, переворачивает липким пальцем.

На счастье, говорит он. Для Селесты.

Десять

Дол, поесть надо обязательно. Учти, больше еды не будет — только после церкви. Мама гладит меня по голове, но едва я чувствую ее руку на своем затылке, меня начинает тошнить. Кролик, голый и скользкий. Он похож на новорожденного.

Это, наверное, от волнения, говорит Ева. Лучше не насилуй ее. А у тебя, Лепесточек, вижу, с аппетитом все в порядке, добавляет она, глядя, как Роза подцепляет вилкой еду с тарелки Селесты.

Все равно в помойку выбросят, говорит Роза с набитым ртом, из которого вылетают кусочки омлета.

А ты у нас вместо помойки, говорит Селеста. Она раздраженно отодвигает стул, и вид у нее такой, словно ее тошнит: ее лицо того же зеленоватого оттенка, что и мое. Может, она тоже слышит запах мертвого кролика, думаю я. О том, что я видела утром, не сказала никому, даже маме. Впрочем, она и так знает: когда Фрэн встает из-за стола и собирается покормить кролика, мама ее останавливает.

Иди-ка сюда, говорит она и берет ее за руку. Давай платье померим.

За эти полгода Фрэн так выросла, что старая одежда ей уже не годится. Она мерила Розину, но та не подошла — на худенькой Фрэн все висит мешком. Ева отдала желтое летнее платье в оборочках — рукава фонариком, широкая юбка, под ней — нижняя. По-моему, оно сказочно хорошо. Фрэн отказывается наотрез.

Я буду похожа на банан, говорит она, отшатываясь.

Я куплю тебе банан, детка. Стой спокойно!

Мама разворачивает Фрэн, расстегивает ей рубашку.

Я могу и в форме пойти, кричит она, когда мама начинает снимать с нее рубашку.

Ни за что!

Манжеты у Фрэн застегнуты. Мама тянет рубашку ей через голову, волосы, наэлектризовавшись, липнут к лицу. Теперь мама стягивает рукава, а я вижу кролика, с которого сдирают шкурку. И меня тут же рвет. Я здесь словно ни при чем; вода, радуга, темнота. Линолеум холодит мне щеку.

* * *

Пиппо стоит в огромной холодной ванне и напевает себе под нос.

Не хотите пирожка из свежего теста?

До чего ж ты хороша, Гаучи Селеста!

и шлепает ладонью по мыльной пене, плавающей в раковине.

Буонасера, синьорина, буонасера! Буонасера, синьорина, и прощай!

Он трет порозовевшую от горячей воды грудь и проходится по всему репертуару. Может, Сальваторе и не лучший повар на свете, думает Пиппо, — на его вкус маловато соли, — но вот собрание пластинок у него замечательное. Он просовывает мочалку между ног, окунает ее в мыльную воду, забрасывает на шею. От тела идет пар.

Он вспоминает про липкую бутылку и свежеприклеенную этикетку — заметил, когда наливал себе минералки. Позор какой! Будто бы он, Пиппо Сегуна, не знает разницы. Тоже мне мошенники!

Пиппо хмурится. Этот Фрэнк Гаучи еще лез целоваться со всеми гостями!

Крестьянином и остался, говорит Пиппо так громко, что мать, выкладывающая второе яйцо на тарелку Паоло, удивленно вскидывает брови. Пиппо отбрасывает надоевший ему английский.

Ти амо, Селеста! — вопит он во все горло. *Миа*

реджина!

Паоло вопросительно смотрит на мать.

Королева, что ли? — спрашивает он шепотом.

Мать, запрокинув голову, беззвучно смеется.

* * *

Роза и Люка поздравляют меня. Такого еще не бывало. Они сидят по обе стороны кровати и по очереди вытирают мне лицо салфеткой. От нее пахнет «Доместосом». Они разговаривают, как шпионы на задании. Отлично сработано, Дол, говорит Роза. Тактика правильная.

Первоклассная! — орет мне в ухо Люка. Начальство будет довольно!

Оказывается, я потеряла сознание, и поэтому мама не увидела татуировок Фрэн. Это очень хорошо, или, как говорит Роза:

В яблочко, агент Дол! Высший класс!

Я больше не хочу в обморок, если она об этом. Меня как будто вывернули наизнанку, и думать об этом не хочется. Я делаю то, что делает мама, когда не хочет о чем-то думать: начинаю тихонько напевать. В спальню входит Ева, за ней маячит Фрэн. Ева берет ее за руку и выводит на середину. На Фрэн желтое платье Евы, а сверху — белый жилет. Один из Селестиных, из шелкового трико-

тажа, с розочками по горловине.

Мы всё знаем, говорит Ева, глядя на нас троих. Правда, Фрэн?

Фрэн угрюмо кивает.

И пока что никому не скажем ни слова. Прежде всего вашей маме. Договорились?

Мы все киваем. Мне стало гораздо легче: я решила, что Фрэн знает про кролика, а Ева про татуировки. Еще немного, и не будет вообще никаких тайн.

* * *

Пиппо стоит перед алтарем. Он оборачивается то вправо, то влево, заметив знакомое лицо, приподнимает в приветствии руку. Вокруг гирлянды цветов вьется пчела; сверкает позолота, витражи отбрасывают на мраморный пол разноцветные тени. За его спиной откашливаются и перешептываются гости. Кто-то сморкается. Пиппо снова оборачивается, замечает, как Сальваторе вытирает платком лицо. Паоло подмигивает Пиппо и усмехается.

Шляпу сними, шепчет уголком рта Пиппо. Паоло снимает шляпу, проводит костлявой рукой по редким волосам, склоняет голову вправо.

Мэри, садясь на скамью, замечает этот жест.

Ей даже кажется, что она узнает его. Она забыла преклонить колени и глядит на ту половину, где сидят гости Пиппо, — увидел кто или нет. Миссис Сегуна улыбается, поджав губы, из-под черной мантильи.

Плевать, бурчит себе под нос Мэри и чуть было не собирается встать, выйти и вернуться заново. Но тут вздыхает, набирая воздуха для мелодии, орган, и Селеста призраком идет по проходу.

Фотография 1

Жених и невеста. Пиппо с зализанными набок волосами, Селеста с поднятыми вверх руками — она пытается поправить вываливающийся из прически цветок. Ева называет этот снимок «Сдаюсь».

Фотография 2

Ближайшие родственники. Мэри и Фрэнки, Селеста и Пиппо, миссис Сегуна и Паоло стоят в ряд. Виден краешек широкого лица Сальваторе, пристроившегося за ними. Все прищурились. На траве у ног Селесты видна тень фотографа — тонкая, длинная, черная.

Фотография 3

Подружки невесты. Люка одной рукой оттягивает ворот платья — иначе ей нечем дышать, а другой щиплет меня повыше локтя, поэтому я

не улыбаюсь. Рот у меня — как дыра, которую пробили в снимке. Фрэн стоит, скрестив руки, а Роза, согнувшаяся в три погибели, перед ней — она изображает Квазимодо. Колоколов на фотографии не слышно, но они звонят.

Фотография 4

Шафер целует невесту. Паоло снова в шляпе, поля опущены, чтобы в глаза не било солнце. За ним, в углу церковного двора, некий человек передает что-то Фрэнки. Они, замерев в приступе хохота, тянут друг к другу руки.

Фотография 5

Кольца. Мэри увидела ее слишком поздно. Фрэнки стоит между Селестой и Пиппо, держит в ладони их руки. У Селесты кольцо толстое, желтое, у Пиппо — простенькое, узкое, оно принадлежало еще его отцу. Он привык к нему. А у Фрэнки кольцо на левом мизинце — золотое с рубином.

* * *

Сальваторе сидит в конце стола, справа от него Карлотта, слева Роза. Дальше Люка и Фрэн, а напротив двое мальчишек, которых я не знаю. Я на другом конце, с Евой и Мартино. Это неправильный порядок, и Карлотта, когда Ева начинает

всех пересаживать, злится еще больше.

Я обещала Мэри, что помогу Дол резать мясо, кричит Ева на весь стол. Ей в одиночку не справиться.

Она усаживает меня напротив Сальваторе. Он улыбается мне во весь рот, поднимает большие пальцы кверху и начинает ими вращать. Карлотта шлепает его по плечу.

Баста! — кричит она так громко, что незнакомые мальчишки перестают пихаться и смотрят на нее. Большую часть времени они заняты тем, что поднимают тяжелую белую скатерть и заглядывают под стол. Будто стола никогда не видели!

Сальваторе всегда что-нибудь придумает. Приносят первое блюдо — розовый веер королевских креветок под оранжевым соусом, — и Сальваторе хватает одну, держит над тарелкой, хмурится и качает головой. Он ведет с ней беседу, склонив голову так низко, что его ухо едва не касается черного глаза креветки.

Прошу прощения, говорит он. Что вы сказали? Я не могу даже дотронуться до креветки: нужно сломать панцирь и снять его, а я больше ни с чего и никогда не буду снимать кожу. Ева ждет, пока Мартино покончит со своей, и предлагает ему мою. Она разламывает креветку и кормит

Мартино — как собаку. По-моему, она рада, что мистера Амиля не пригласили.

Раздается крик из кухни, и появляется отец с большой кастрюлей в руках. Я знаю, что там. У меня бешено колотится сердце. Он наклоняется надо мной, кладет мне на тарелку порцию рагу; островки жира плавают, поблескивая, по поверхности; темные куски мяса держатся за желтые обломки косточек. Я кидаю на Фрэн предостерегающий взгляд, но она встречается со мной глазами в тот момент, когда уже рвет зубами мясо. Кончиком вилки я дотрагиваюсь до картофелины. Она ускользает, ныряет в темно-красный соус, и я ныряю за ней.

* * *

Ты пропустила десерт, Дол, говорит Селеста. Селест почему-то две, но потом они сливаются в одну. Я лежу на диване за занавеской. Где я, я не знаю. Мама держит меня за руку.

А ты хоть немного оставила, а, Сел? — спрашивает она.

А то! Не волнуйтесь. Боже, жарко-то как, говорит она и машет рукой перед глазами. Неудивительно, что она спеклась.

Она наклоняется надо мной, шурша, как паке-

тик чипсов. Селеста совершенно переменилась. Ее белое свадебное платье в зеленых и коричневых квадратах. Она похожа на куколку бабочки; голову крылом покрывает фата, лицо красное, потное — будто вылезает из надоевшего кокона.

Что это? — спрашиваю я, приподнимая голову.

Деньги! — говорит Селеста, делая большие глаза.

Я приглядываюсь; квадраты — это банкноты по десять шиллингов, по фунту, по пять, приколотые к платью. Мама уверенной рукой снимает одну за другой.

Мам, что ты делаешь?

Освобождаю место для следующих, радостно отвечает она и сжимает купюры в кулаке. Иди потанцуй, счастье мое. Я отведу Дол к реке — пусть подышит свежим воздухом.

Тогда уж возьми и это, корчит гримасу Селеста. Она отвязывает висящий у нее на талии кусочек меха. Это кроличья лапка. Мама разглядывает ее.

Ну что, Сел, как по-твоему, говорит она. Старая, новая, чужая, ворованная?

Я бы сказала, вонючая.

И мертвая, подхватывает мама.

Они хихикают — совсем как колдуньи из сказки.

Ну и ладно, говорит мама. Она тебе вряд ли понадобится. Только уж отцу не говори.

Папе-лапе не скажу, говорит Селеста, и они снова прыскают со смеху.

Мама щелкает замком сумочки, сует в нее кроличью лапку. Я чувствую, как лапка ныряет в темноту сумки, пристраивается рядом с губной помадой, пудреницей, расческой. Пропитывает их своим запахом.

Сальваторе человек непьющий — разве что рюмочку «Адвоката», когда взгрустнется, или стаканчик пива по праздникам, но еда была такой соленой, а шампанское таким легким, что он довольно быстро напился. Сальваторе садится на край сцены и смотрит, как жених с невестой еще раз обходят зал — жмут руки, целуют гостей. Маленький мальчик в костюмчике подбегает к Селесте; она наклоняется, чтобы он приколол деньги к фате. Сальваторе ищет глазами Карлотту—им тоже надо что-то дать, а кошелек у нее. Карлотта в толпе танцующих, смотрит, как Ева отплясывает твист. Ева клонится набок, и Сальваторе любуется изгибами ее тела. Бедро плавно перетекает в талию; золотые босоножки болтаются в руке, босые ноги с красным педикюром ввинчиваются в пол. Ева такая складная,

она могла бы и в обувной коробке сплясать, а у Карлотты тело будто водой налито: она, когда танцует твист, колышется, как желе. Сальваторе и это нравится.

Мы стоим на мосту у Парк-плейс, рядом с невысокой, заросшей мхом стеной. Мне хочется до нее дотронуться, я знаю, какой мох пористый, упругий, а внутри влажный, но я не осмеливаюсь из-за новых белых перчаток. Варежки я носила, а перчатки — никогда. В пальчики левой мама вставила ершики для трубок, обернутые ватой. Получилось замечательно: я могу сгибать их, как захочу. И руки выглядят почти нормальными.

Дыши глубже, Дол, говорит мама. Пусть легкие проветрятся.

Услышав шум мотора, она оборачивается. Она такая красивая — от оттеночного шампуня волосы стали золотисто-каштановыми, в ушах серьги розового жемчуга, которые она позаимствовала у Евы. На ней синее парчовое платье с блестящими полосками, на руке белая сумочка. Через пару минут она ставит ее на стену. Внизу течет река.

Мам, ты помнишь кролика Фрэн? — спрашиваю я.

Да, отвечает она настороженно.

А где же он, мам? Куда подевался?

Я начинаю тихонько скулить. Мама не сводит глаз с воды.

Он сбежал прошлой ночью, говорит она, отвернувшись от меня, и ее слова уносит ветер.

…твоя дурочка сестра забыла закрыть задвижку. Это вранье. Мама — врунья. Я *видела*, как Роза запирала клетку, и *видела* отца, запустившего руки в кролика. Видела собственными глазами. Теперь я ничему не могу верить.

Мартино просовывает Еву себе под руку и крутит, крутит, крутит ее, собирается отпустить и снова тянет к себе. Рот у нее раскрыт, она смеется и прерывисто дышит; совсем рядом — запах кожи, золотые искорки в его глазах; где-то вдалеке вертится вокруг зал, разноцветный, в огнях. У Евы кружится голова, она хватается пальцами за лацкан его пиджака, ладонь кладет на грудь — туда, где сердце.

Уймись, Тино, ты меня уронишь! — кричит она. Мартино смотрит на нее и улыбается, глядит поверх ее головы в угол зала. Она наблюдает за ним, а он за чем-то другим. Улыбка сползает с его лица. Ева чувствует, как подпрыгивает его сердце. Она оборачивается и видит двух мужчин, пробирающихся между танцующих пар. Первый — Паоло, шафер, но теперь она вспоминает его

и по снимку—по снимку в «Криминальных новостях».

Брат Пиппо? — Это скорее утверждение, чем вопрос. Мартино накрывает ее ладонь своей и прижимает к груди.

Я его раньше не видел, говорит он, не сводя глаз с мужчин. Тот, что за ним, Джо Медора.

Ева ищет глазами Мэри, пытается высвободиться, но Мартино держит ее крепко.

Мне надо найти Мэри, говорит она. Она захочет с ним увидеться.

Поздно уже, говорит Мартино и легким кивком показывает Еве, куда смотреть: к тем двоим присоединяется Фрэнки — со шляпой в руке, через которую перекинут плащ. Все трое исчезают в толпе.

Мэри роется в сумочке, подставив ее под свет фонаря. Она вытаскивает бутылочку с прозрачной жидкостью, отвинчивает крышку и делает долгий глоток из горлышка. Небо сереет. Свет фонарей кажется красным, потом оранжевым. Она делает еще глоток, закашливается. Машины разворачиваются под мостом, фары скользят по стене, высвечивают ее, едут дальше. Мэри вытаскивает попавшую в рот прядь волос, заматывает ее вокруг уха. И вспоминает шафера. Произносит

чуть слышно:

Паоло.

Паоло с тенью, упавшей на лоб. Она представляет снимок из «Криминальных новостей» в цвете. «Знаете ли вы этого человека?»

О да, говорит она. Я знаю этого человека.

Мужчины идут гуськом в конец зала. Паоло забросил плащ на плечо, согнутый палец торчит у уха. Джо, опустив голову, пробирается к боковой дверке, ведущей на улицу. Он открывает ее и пропускает Фрэнки, который замирает на мгновение. Ветер свободы дует ему в лицо. Он оглядывается на полный народа зал. У сцены Роза гоняется за Фрэн, хватает ее за край платья, и обе они с хохотом валятся на танцующую пару. Вдалеке Фрэнки видит Селесту, которая разговаривает с кем-то. Может, с Мэри? Хотелось бы посмотреть на нее в последний раз. Он привстает на цыпочки, прищуривается — ему мешает свет ламп и сигарный дым, но женщину рядом с Селестой загораживает спина Пиппо.

Фрэнки, невозмутимо говорит Джо, пора.

Фрэнки протискивается в дверь и выходит за двумя мужчинами в переулок.

Стой здесь, Дол, хорошо? Никуда не уходи. Обещаешь?

Мэри видит, как они торопливо идут по улице: Фрэнки, Джо Медора, Паоло. Она поворачивается, кидается под мост, к ним. Они останавливаются около стоящей у тротуара машины, открывают дверцы, ныряют внутрь.

Джо! — кричит Мэри. Фрэнки! Джо!

Она бежит. Из бутылки в руке выплескивается жидкость, переливается в свете едущей сзади машины хрустальным блеском. Гулко — как будто она падает в колодец — звучит ее крик:

Джо! и перекрытие моста эхом возвращает его.

Марина! Девочка моя!

Машина Джо впереди, она трогается с места.

Фрэнки вглядывается в заднее окошко, видит Мэри с разлетающимися волосами, в сверкающем на бегу синем платье, с бутылкой, улетающей по дуге в темноту. Фрэнки понимает, что она его не может видеть, но все-таки поднимает руку — сказать прощай, уезжаю, корабль ждет, — левую руку, с кольцом.

Пропавшие

Я бы ждала и ждала, хоть вечность. Она не вернулась. Некоторые пятилетние дети боятся самого худшего: что ее сбила машина, что ее забрали инопланетяне или похитили привидения. Но я знала свою маму, я знала, она, как и отец, должна была сбежать. Когда начался дождь, я перебралась под дерево. И так тихо стояла, что Ева чудом заметила меня в темноте. Она увидела мамину сумочку, брошенную на мосту, узкий проем в стене, через который едва можно протиснуться, две борозды на грязи у берега. Ева, совсем на себя не похожая, металась туда-сюда вдоль низенькой стены и звала нас.

Мэри! Долорес!

Приставив ладонь ко лбу, как моряк, высматривающий сушу:

О господи! Мэри!

Теперь всякий раз, стоя под деревом, я вспоминаю это; круг земли из которого торчат корни — не разглядишь, споткнешься; капли дождя, мягко шлепающиеся на землю; свет фар, скользящий по мосту; и Ева, пробирающаяся вдоль замшелой стены. Увидев меня, она перестала

кричать, оперлась рукой о стену. Перевела дыхание, попыталась улыбнуться.

Привет, Лепесточек, сказала она тихо. Тут такая грязь — скользко! и стала оттирать свой тонкий каблук об камень. А потом, словно между прочим:

Куда же твоя мама подевалась, а, Дол? будничным голосом. Чтобы я не боялась.

Когда я пытаюсь представить себе, как выглядит Ева сейчас, у меня перед глазами встает Линда Харрис: она сидит в справочном отделе библиотеки, в то время как я взяла «отпуск по семейным обстоятельствам». Линда высокая платиновая блондинка. Возраст—предпенсионный. Ее возлюбленного зовут Мехмет — нравятся мне смугленькие, говорит она, словно я генетически запрограммирована это понимать. Может, Еву мне напоминает как раз то, какие мужчины ей по вкусу, а может, браслет с брелками, она его носит, не снимая.

Нужно включить в список Еву и Мартино. Он у меня в дорожной сумке — наверху, рядом с мешком подарков, которые я привезла сестрам. Что дарят незнакомым людям? Точно уж не духи, не платки, не украшения. Я купила шоколад, корзинку засахаренных фруктов, африканскую

фиалку в целлофановой трубе. Все это напоминает ассортимент магазинчика на бензозаправке.

Я щелкаю выключателем внизу лестницы — в надежде, что зажжется свет наверху. Он, разумеется, не работает. В кухне висит голая лампочка, чересчур яркая. Она подчеркивает все то, чего прежде не было. Пустоту. Тишину. Безлюдье. В столовой темно, но даже сквозь задернутые шторы пробивается оранжевый свет уличного фонаря, стоящего у самого дома. Я вижу неясные очертания узкой кровати у окна. Должно быть, ближе к концу ее перенесли сверху. Она похожа на кровать отца — ту, которая стояла в Клетушке. Кровать застелена. На подушке, там, где лежала мамина голова, вмятина, и в ногах тоже — пошире, там сидела миссис Рили, вертя в руках посудное полотенце. Поначалу я не могла до него дотронуться, а теперь вхожу в комнату и разглядываю его: белое, с гордой алой надписью «Ирландский лен» по краю. Оно свернуто в трубочку. Меня пронизывает странное ощущение, мне кажется, что всё не на своих местах. В доме побывал тот, кто не знал его прежде, и положил вещи вроде бы куда положено. Либо так, либо мама просто забыла, где что было.

Пивная кружка с толстяком Тоби стоит на пер-

вой горелке плиты, а расписная тарелка с видом Тенби положена посреди кухонного стола. На выцветших обоях выделяется яркий круг — там, где она раньше висела. Медный колокольчик, который должен стоять на каминной полке рядом с фотографиями Селесты, оказался на туалетном столике. Я вдруг понимаю, что он не медный — это лакированная жесть. Я беру его и трясу, но колокольчик не звенит — кто-то снял язычок. Ты меня с ума сведешь, говорила мама, выхватывая его у меня, и убирала подальше, чтобы я не дотянулась. Тогда колокольчик казался огромным, а теперь я понимаю, что он маленький и легкий, и нет в нем ничего особенного. И дотянуться я могу докуда угодно.

В пивной кружке я нахожу шариковую ручку. Пытаюсь написать на руке «Ева», но не получается: сначала выходит только белая царапина, а потом из ручки вываливается кусок красной пасты. Я вспоминаю Фрэн и, с болью, Люку. Но переключаю мысли на Сальваторе; не забыла ли я внести его в список пропавших.

Одиннадцать

На улице собралась толпа: не только гости, но и молодежь, направляющаяся в клуб «Карибы», краснолицые пьянчуги, надеющиеся догулять в «Бьюте». Уличные девицы выглядывают из дверей — посмотреть на невесту. Селеста переоделась в дорожную одежду, но ее нового кремового костюма никто не видит; Пиппо настаивает, чтобы она надела сверху вязаную накидку, подарок его матери.

Он же красный с желтым, Пип, зло шепчет она ему в ухо. Я с этими чертовыми полосками выгляжу как Спид и Гонсалес.[11]

Пиппо улыбается и укутывает ей плечи. Селеста отталкивает его и распахивает дверцу такси.

Где мама? — кричит она в толпу. Роза пожимает плечами. Она тащит чемодан Селесты по мостовой, пока его не забирает Сальваторе, но несет его недолго, а потом тоже тащит до машины. Положить чемодан в багажник он поручает шоферу.

Ну, как всегда! Где папа? кричит Селеста, вглядываясь в улыбающиеся лица. Пиппо усажи-

---

[11] Примечания: 11
Мышонок из мультиков.

вается рядом с ней на заднее сиденье. Его мать наклоняется к окошку. Когда старуха просовывает в опущенное окошко голову, чтобы поцеловать Пиппо, Селеста видит только ее усики, морщины и разверстый рот. Яростные поцелуи. Яростный шепот.

Чао, Филиппо, *фильо мио, санге мио! Мио… Мио…*

Для Селесты эти слова звучат как молитва.

О чем это она? — спрашивает Селеста. Филиппо не отвечает. Он поднимает стекло, такси трогается. Мартино проходит сквозь лес машущих рук, сквозь колкий водопад риса, трогает Сальваторе за плечо.

* * *

Через две улицы оттуда, у приюта Армии спасения собралась другая толпа. Мэри сидит на тротуаре, прислонившись спиной к стене. Она не помнит, куда подевала сумочку, где потеряла туфлю.

Как тебя зовут, милая? — раздается у нее над ухом вопрос. Она смотрит на лица: кругом одни мужчины, старые.

Мэри Бернадетт Джессоп, отвечает она голосом из детства. Но понимает, что это неправильно.

Она надеется, что имя у нее в сумке, написано на листке бумаги — на случай, если она потеряется, — или синими чернилами на шелковой подкладке. Она видит имя у себя в голове, но не может его произнести. Ей хочется плакать, но она сдерживается, и когда девушка в белом капоре спускается со ступенек и заговаривает с ней, Мэри чувствует, как ее обволакивает тишина. Девушка ее знает; Мэри приводит сюда детей по воскресеньям, когда в доме нет еды. Она берет Мэри за руку и ведет наверх. Мэри теперь пойдет с кем угодно. Ей все равно, с кем.

Внутри кипит жизнь. На длинной скамье сидят в ряд мужчины: курят, едят суп, спят сидя; идет, держась за стенку, женщина, разговаривает с собачкой, сидящей у нее за пазухой. Двое пьянчуг рвут друг у друга из рук одеяло. У Мэри стучат зубы. Она садится на дальний конец скамьи, девушка присаживается рядом, ее гладкая ладошка ложится на Мэрину. Свет такой яркий, что режет глаза. Лица у всех голубоватые. Мэри глядит на стены, где развешаны рисунки детей из воскресной школы.

крупно написано на оранжевом полотнище; под ним рисунки — деревья с толстыми коричневыми ветками и крохотными зелеными почками; один — осенний, на нем листья, кружась, падают с неба в кучку внизу. Мэри рассматривает опавшие листья. Хорошо бы забраться под нее, думает она, ей хочется лежать в земле и тихо тлеть. Хочу быть *этим.*

* * *

В «Лунный свет», говорит Сальваторе. Они наверняка там. Мартино качает головой, однако машину разворачивает. Он понимает, что Джо не будет здесь околачиваться, особенно после того, как появился на свадьбе: закончив дела, он тут же уберется из города.

Что он задумал? — размышляет Мартино вслух.

Круглые глаза Сальваторе мерцают в темноте. Он пожимает плечами.

Понятия не имею, Тино. Но, похоже, дело плохо. Плохо для Мэри.

Мартино молчит, он думает не о Мэри, а о Еве,

о том, как она, застегивая босоножки, держалась за его рукав, и ее серьги с поддельными бриллиантами нежно позвякивали о шею. Он мечтал до нее дотронуться.

Увидишь Мэри, скажи, я ищу ее, прокричала она, внезапно помрачнев.

Вечно, думает Мартино, эти Гаучи все портят.

В «Лунном свете» темно. Сальваторе не включает электричества, а идет прямиком к двери с надписью «Служебное помещение», поднимается по лестнице. Мартино бродит по пустому кафе, нос улавливает одеколон Джо Медоры. Он закуривает сигарету, чтобы быстрее пролетело время и чтобы заглушить запах, который въедается ему в нутро, будто подтверждая, что случилось что-то ужасное.

Сейф проверь, кричит он, пронзенный предчувствием. Проверь сейф, Сал!

В кабинете Джо Медоры все тихо. Сальваторе прикрывает за собой дверь, проходит мимо дивана и вокруг стола к сейфу, припрятанному внизу. Он вытаскивает ключ, садится, балансируя на пятках, на корточки. И смотрит в темные внутренности сейфа, на верхнюю полку с бумагами, под нее — туда, где обычно лежат деньги. Вчера утром было пять тысяч фунтов — да, половина

идет Джо Медоре, но вторая-то половина его. *Была* его. Сальваторе проводит рукой по пустому дну, чувствует ладонью прохладу металла. И тут нащупывает у стенки салфетку с одним *бискотти*. Это окончательно приводит Сальваторе в ярость.

Ева ищет в маминой сумочке ключ от дома. Достает кусок материи с привязанной к нему кроличьей лапкой.

Тьфу ты, черт! — говорит она и швыряет лапку обратно. Где этот проклятый ключ?

Роза засовывает руку в почтовый ящик, достает засаленный шнурок, на котором висит ключ. Ева хватает его, сует в скважину.

Надо потянуть дверь на себя, говорит Роза. У вас навыка нет.

Розе понадобилось немного времени, чтобы назначить себя главной. Селеста еще в Англии, а она уже командует. Она злится на Еву за то, что та не сказала, где мама. Я знаю, потом она наверняка будет выпытывать подробности у меня. Люка с Фрэн вбегают впереди нас и несутся по лестнице, крича:

Мама! Мама!

Ева кладет на буфет мамину сумочку, потом свою, снимает перчатки, кидает их сверху.

Девочки, снимайте пальто. Роза, может, сдела-

ешь нам чаю?

Вы мне не мама, огрызается Роза.

Твое счастье, юная леди, говорит Ева. Ну что, хотите чаю или нет?

Мы молчим. Смотрим, как Ева опускается на колени перед камином, снимает каминную решетку.

Сейчас все сделаем, говорит она, возя кочергой по серым углям. Когда их переворачиваешь, они нехотя румянятся. Она ждет с минуту, кладет сверху несколько свежих глянцевых кусков, накрывает их газетой. Под роем буковок оживают языки пламени.

Где наша мама? — в десятый раз спрашивает Люка.

С цыганами сбежала, зло говорит Роза. И не вернется *никогда*!

Ева сдергивает газетный лист, из камина подымается облако дыма. Люка разражается рыданиями.

Ну посмотри, что ты наделала! — кричит Ева. Роза, я тебя умоляю!

Та подходит к Люке, но Люка от нее отворачивается.

Лю, она ушла ненадолго. Я попрошу мистера Амиля ее поискать, хорошо?

С цыганами сбежала, шепчет Роза, и рот ее растягивается в мерзкой усмешке. Люка снова рыдает.

Довольно! — орет Ева. Марш в кровать, немедленно! Все четверо!

Где отец, не спрашивает никто.

Машина сворачивает с Тиндалл-стрит на грунтовую дорогу, а с нее — на бетонку, идущую к Восточному порту. Джо с Паоло сидят впереди и молчат. На заднем сиденье Фрэнки нервно крутит на пальце кольцо. В этой части города фонарей почти нет. И людей нет, никто их не увидит. Он связался с Паоло, и теперь уж ничего не поделаешь. За пять тысяч фунтов он получил кольцо с рубином, бесплатное путешествие на «Афине» и молчание Паоло. Они в равном положении: Пиппо незачем знать, что его брат работает с Джо. А Джо не скажут, откуда у Фрэнки деньги. Поначалу этот план Фрэнки очень нравился — выкупить отцовское кольцо деньгами самого Джо. Ему казалось это справедливым. Но Паоло лелеет свою тайну. Он то и дело подмигивает Фрэнки в зеркало заднего вида, туманно намекает на «Лунный свет».

Клуб небось неплохой доход приносит, а? — говорит Паоло.

Есть кое-что, уклончиво отвечает Джо.

Фунтов сто в неделю выходит?

Может, и выходит, пожимает плечами Джо. В хорошую неделю.

Или побольше — с левыми делами. Эй, Фрэнки, уж ты-то знаешь! Есть у Сальваторе побочный доход? Может, карточный клуб? Девочки? Документы *на выезд*? Фрэнки впивается взглядом в длинную шею Паоло, в зеркало не смотрит, чтобы не встретиться взглядом. Он молчит.

Ах, Сальваторе! Бедняга Сальваторе! — вздыхает Паоло.

Джо плевать. Деньги от Фрэнки он получил. Сейчас тот выйдет из машины, сядет на корабль, и всё. Дело сделано.

Мистер Амиль внизу, орет на Еву, громко хлопают двери, потом все стихает, и слышен только телевизор. Фрэн тихонько спускается вниз — узнать, что случилось. Ева с мужем ушли, оставили мать мистера Амиля — присмотреть. Она сидит на диване, ест арахис и смотрит «Удвой свой выигрыш».[12]

Фрэн возвращается на свою кушетку. Берет с туалетного столика мамино зеркальце, глядится

---

[12] Примечания: 12

Викторина английского телевидения, просуществовавшая с 1955 по 1968 г.

в него, приглаживает рукой челку. В другом углу комнаты совещаются Роза и Люка. Они шепчутся, прикрывая рот рукой, оценивающе смотрят на меня. Все это для того, чтобы меня напугать.

Скажи уж лучше, говорит Роза. Это твой последний шанс, Уродина.

Я уже рассказала им всё, что знала. Теперь прикидываю, не сочинить ли еще что, но тут Люка бочком пробирается ко мне — прямо как кошка, выслеживающая воробья.

Сама знаешь, куда мы тебя засунем, говорит она.

Оставьте ее в покое, вступается Фрэн.

Ну ладно, говорит Роза. И после паузы: В колыбельку!

Она хватает с кровати Фрэн сложенную простыню и набрасывает ее на меня. Все это происходит почти бесшумно, только звенят от возбуждения их голоса.

Ни слова! — произносит у меня над ухом Люка. Или тебе конец!

Сопротивляться бессмысленно. Роза катит меня по кровати, туго закутывает во влажную простыню.

Я не могу дышать, выговариваю я, с трудом открывая спеленатый рот. Дышать не могу!

Роза слегка оттягивает ткань вокруг моего лица.

Сойдет, говорит она, после чего меня поднимают в воздух, раскручивают, бьют головой о что-то острое, роняют. Я слышу их смех — истерическое повизгивание Розы, низкий, лающий хохот Люки. Они тащат меня по полу, перекатывают. В нос бьет едкий запах.

Воду из сухого дока откачали, и он пуст. Шлюзные ворота поскрипывают под натиском вод Восточного бассейна. Видно, как вспыхивает огонь в литейной неподалеку, озаряет темноту и снова гаснет.

Мартино останавливает машину на развилке между депо и конторой Западного порта. Сальваторе вопил не переставая всю дорогу. Теперь, когда Мартино выключил фары, он притих. Сальваторе в «Лунном свете» общается с моряками; ему известно, когда какой корабль отходит. С утренним приливом снимается с якоря «Афина», следующая на Кипр. Команда мальтийская. Сальваторе подозревает, что утром там появится еще один матрос. Он человек не азартный, но тут готов держать пари.

По восточной стороне идут трое — их силуэты отчетливо видны на фоне залитой светом

прожектора стены зернохранилища. Впереди Фрэнки — его так и манит корабль вдалеке. Давно он не выходил в море; он не думает ни о мозолях от канатов, ни о ноющих конечностях, ни о доводящей до безумия ночной тоске. Для него этот корабль — романтика, новое будущее. Мужчины подходят к дальнему концу сухого дока, взбираются по его краю, как стайка крыс. Там, где через шлюзные ворота перекинуты доски, Джо и Паоло останавливаются. Они на ту сторону переходить не будут.

Сальваторе прислушивается к их шагам, раздающимся гулким эхом в пустом доке, — торопливая дробь Фрэнки доносится спереди. Он оценивает расстояние между Фрэнки и мерцающими огоньками «Афины»; на сей раз он не даст Фрэнки уйти. И Сальваторе выскакивает из машины. Мартино не успевает его остановить.

Один конец простыни они привязали к перилам, другой — к трубе, которая проходит по стене. Я подвешена над лестницей. Конструкция ненадежная, стоит мне дернуться, и я слышу, как скрипят балясины. Ноги у меня выше головы, кровь приливает к лицу.

Ну, Долорес Гаучи, говорит Роза командирским тоном, выкладывай всё, что знаешь!

Она пошла погулять, говорю я, только голосок у меня тихий-тихий, как будто издалека.

Лгунья, говорит Люка откуда-то сверху.

Лгунья, кричит Роза, бьет кулаком по простыне, и я раскачиваюсь. Они начинают петь:

Лгунья и уродина, кислая смородина!

Фрэнки с раскинутыми, как у огородного пугала, руками идет по мостику. Он осторожно ставит ноги на деревянные перекладины. Справа от него зияет пустой док, на стенах висят люльки маляров. Они поскрипывают на ветру. Глубоко так, что бетонного дна не видно. Слева хлюпает вода в резервуаре. Дождичек, который шел с перерывами весь день, припустил снова, капли китайскими фонариками помигивают в воде, трап «Афины» переливается серебром. Фрэнки поворачивает голову, видит поодаль Джо и Паоло. Перед тем как им раствориться во тьме, Паоло вскидывает на прощание руку. Сальваторе, спешащего к сухому доку, они не видят.

Он знает, думает Фрэнки, заметив лезущего наверх Сальваторе. Фрэнки сходит с мостика, кладет руки на плечи Сальваторе, хочет его успокоить. Уговорить. Умолить.

Помогите, говорю я. И повторяю громче: Помогите!

Мне все равно, слышит меня старая миссис Амиль или нет; простыня мокрая, липнет к лицу, ног как будто вообще нет. Я боюсь двигаться — боюсь, что сорвусь и покачусь с лестницы. Я знаю, что мама не придет меня спасти.

Помогите!

Меня обнимают чьи-то руки, становится тепло, я слышу покряхтывание, меня поднимают за ноги, я то ли лечу, то ли падаю — понять не могу.

Тсс, говорит Фрэн, снимая с моей вспотевшей головы простыню. Тсс! Не то они услышат.

Сальваторе крепко прижимает кулаки к груди, вскидывает их над головой.

Фотутто бастардо! Как ты мог так — со мной! Ну почему, Фрэнки? Почему?

Фрэнки прикидывает расстояние — долетит ли звук, услышит ли Джо. Сальваторе теперь не угомонишь.

Хабиб, говорит, изобразив на лице полуулыбку, знаменитую ухмылку Фрэнки. Хабиб…

Он пытается обнять друга, остановить его крики. Остановить его — как угодно.

И *бискотти*, Фрэнки, слышишь, *бискотти*! — кричит Сальваторе, чуть не плача. Он делает шаг назад, еще шаг. Фрэнки видит Сальваторе в короткой вспышке света из литейной, видит, как

тот оступается, падает, летит вниз — на бетонное дно сухого дока. Криков больше нет. Фрэнки глядит в густую темноту дока, потом туда, где стояли Джо с Паоло. Они ушли. Фрэнки слышит вдалеке рокот мотора. Он остался в одиночестве, он размышляет.

Двенадцать

Люка держит мою вытянутую руку над кухонной раковиной. Она загораживает ее своим телом, но глаза мне велит закрыть все равно — словно я могу видеть сквозь нее. Я опираюсь о стол; за Люкиной спиной я вижу эмалированную ванночку, в которой мы моемся вместе, — потом ее накрывают доской и хранят в ней «Доместос» и другие моющие средства. Я ищу, куда, если что, безопаснее будет упасть. Люка собирается сделать мне татуировку; на мне она потренируется, а потом сделает себе.

Думай о чем-нибудь постороннем, тогда больно не будет, говорит Люка.

Я пытаюсь думать о воде, капающей в раковину, но капли редкие, крупные, их звук напоминает о крови. Она поднимает нож вверх, осматривает его, как это делает доктор Килдаре,[13] крутит его во все стороны, на миг все замирает, и только солнечные блики отражаются на кранах и остром лезвии ножа, застывшего в воздухе.

Я не видела, как она выбирала нож, как откры-

---

[13] Примечания: 13
Персонаж телесериала начала шестидесятых.

вала ящик, где лежат столовые приборы, как рылась в нем, как вытащила лучший отцовский нож с желтой костяной ручкой. Стесанное лезвие кривится стальной усмешкой. Этим ножом отец свежевал кролика.

Люка застала меня врасплох. Утро пронзительно-солнечное. Я вывожу угольком цифры на расчерченных «классиках».

10
Десять пальцев на ногах, десять пальцев на руках. Только не у меня.

9–8
Мамино счастливое число; столько дней прошло с тех пор, как исчезли с деньгами Сальваторе и отец.

7
Люкин возраст.

6–5
Столько нас, сестер, и мой возраст.

4 дня прошло, как социальные службы отыскали маму.

Я перебираю потери и обретения: Марина, кролик, отец, еще бы немного — и мама. Селеста

уехала в свадебное путешествие, так что она не в счет. Фрэн тоже уехала: говорят, если она будет вести себя хорошо, возможно, вернется домой. С обретениями хуже. Не могу вспомнить ничего. Я думаю про 3–2 и 1, про то, что обозначают эти цифры, но тут надо мной нависает тучей Люка.

Уродина, ты шестерку задом наперед написала, заявляет она и забирает у меня уголек. Трет ногой неправильную шестерку, перерисовывает ее заново.

Я первая, говорит она. Кидает перед собой уголек и прыгает.

Раз — фигня, два — фигня, три — дерьмо, четыре-пять! — вопит она. Она наклоняется поднять уголек.

Уродская игра! Для малышни! и швыряет уголек в высокую траву.

У меня игра покруче, говорит она замогильным голосом. Пошли!

И направляется к дому. Мой затылок холодеет — так бывает всякий раз, когда я узнаю, что Люка что-то задумала. Наверняка какая-нибудь гадость. Но скоро полдень. Скоро придет Карлотта. Тогда я буду в безопасности.

Карлотта сидит в гостиной, зажав ладони коленями, и тихонько всхлипывает. Над ее головой

топот ног. Что-то рвется, падает с треском и грохотом мебель, хрустят грампластинки — это крушат коллекцию Сальваторе. Напротив сидит в кресле Сальваторе Илья Поляк и говорит, говорит, говорит.

Конечно, миссис Капаноне, это ужасно. Очень вам сочувствую. Но вы поймите — Джо вне себя. Он в ярости. Если найдет Сальваторе — ему конец.

Сальваторе на такое не способен, говорит она. Зачем ему самому у себя воровать?

Илья прикрывает глаза, кивает.

Да знаю я — все мы знаем. Так куда он *пошел*?

В «Лунный свет», куда еще? Я и полиции это сказала. А они мне не верят!

В день *свадьбы* Сегуны?

Даже Илье это кажется нелепостью.

Взять *бискотти* для Мэри, говорит Карлотта, уже уставшая объяснять. Он мне так сказал.

Для Ильи этот разговор не важен. Он его ведет исключительно из вежливости. Чтобы она под ногами не мешалась. Ищет в кармане портсигар, достает, вопросительно глядит на нее.

Вы не возражаете?

Карлотта встает и идет к комоду за пепельницей. Пепельница тяжелая, из желтого агата.

Она стоит у него за спиной, прижимая холодный камень к груди.

Где же он? — спрашивает она себя. Пятнадцать лет в браке, ни дня друг без друга. Карлотта отлично понимает, что значит улыбка Ильи. Он прекрасно знает, как это бывает: мужчины уходят со свадьбы и отправляются в бар. Пьют, играют в покер. И возвращаются домой. А он не вернулся. Сальваторе *всегда* возвращался домой. А тут — не вернулся.

Стукнуть пепельницей прямо по блестящей лысине. Карлотта делает глубокий вдох, аккуратно ставит ее на пол у ног Ильи.

Ничего нету, босс, говорит молодой человек, распахнув дверь. Мы кухню проверим, ладно?

Карлотта идет за ними. Это ее владения. Двое мужчин умело шарят по шкафам и ящикам, трясут консервные банки, вскрывают ее маринады и компоты. Один пальцем подцепляет кусок джема из банки и отправляет себе в рот.

Прекрати, Рой, говорит Илья. Давай работай.

Вот, только это, говорит Карлотта, снимая с полки коробочку из-под чая. Мои сбережения.

Внутри несколько свернутых в трубочку

банкнот, марки «Грин шилд»,[14] кучка шестипенсовиков.

Ладно, говорит Илья. Пошли.

Мужчины мгновенно прекращают поиски и одновременно вытирают руки, словно все, до чего они дотрагивались, было грязным. У двери Илья останавливается.

Это не забудь, говорит он Рою, кивая на жестянку на столе.

Карлотта неподвижно сидит на кухне. Дверцы буфета распахнуты, кругом плошки, кастрюли, липкие крышки от банок. Она прижимает руку к груди. Нет, думает она, нет, Сальваторе. Ты не умер. Я бы это почувствовала.

Люка берет «кроличий» нож отца, облизывает палец, проводит им по лезвию — готовится резать меня.

Только не этим! — кричу я, когда она направляет на меня лезвие. Люка преувеличенно тяжко вздыхает и говорит, копируя мамины интонации:

Так ты хочешь стать крутой или нет? Помнишь, что Фрэн говорила про приют?

---

[14] Примечания: 14

Выдаются в основном в продовольственных магазинах вместе с покупкой; за определенное количество можно приобрести недорогие промтовары в специализированных магазинах.

Я обреченно киваю. Меня пугает не перспектива попасть в приют. Нет, я хочу стать крутой, но, боюсь, не сумею. Фрэн говорит, я еще маленькая. Меня будут бить.

Ну что ж, говорит Люка и начинает резать. Я не чувствую ничего. Как все просто, думаю я, и тут она останавливается. Гляжу на руку: крови нет, только слабые бело-розовые царапины. Люка дотягивается до пивной кружки с толстяком Тоби, берет из нее ручку. Тоби хохочет надо мной, оба его глаза зажмурены — от веселья, а может, и от страха.

Я сначала нарисую, говорит Люка, чтобы понимать, куда вести. Высунув язык, она выводит большое «Д» и замирает. Люка наслаждается своей властью.

Ты что хочешь, Дол или Долорес? — спрашивает она. Голос у нее высокий и пренебрежительный. Птицы за окном не поют. Наверное, во дворе кошка.

Может, ДГ? — робко предлагаю я. Она раздраженно морщится.

Люка берет нож, ведет острием по руке. Первый надрез рваный, я чувствую сопротивление кожи. Я прислоняюсь к ней и вижу, как на коже выступают капельки крови. Она снова берется за дело,

выводит лучшим отцовским ножом полукругу буквы «Д», и каждое движение ножа по коже отзывается у меня в голове. Я начинаю напевать, мычание словно выводит боль через нос. Люка вдруг останавливается и смотрит на меня.

Я тебе сказала, закрой глаза.

Солнце у нее за спиной освещает раковину, куда утекает моя кровь, Люкино лицо в тени. Перед моими глазами проносится неоновый всполох.

Не дергайся, говорит она. По ее напряженному голосу я понимаю, что ей тоже страшно. Мне хочется плакать.

Дай посмотрю, говорю я, вроде бы спокойно, но с подвыванием.

Люка процарапала кривое «Д», оно задрано кверху и не смыкается — похоже на жабры. Я делаю вид, что разглядываю его, но рука у меня ходит взад-вперед — то ли солнце играет, то ли я трясусь. Она отпускает меня, и на запястье остаются белые следы от ее пальцев.

Хватит и «Д», успеваю сказать я перед тем, как стены валятся на пол.

* * *

Ева держит меня за руку; она в перчатках, а вот я — нет. Я не знаю, где они. Никто из нас теперь

не знает, где что.

По утрам приходит Карлотта, убирает, готовит нам еду, роняя слезы в алюминиевую кастрюлю, в которой она тушит рагу, варит суп. Но Карлотта не знает, что куда класть. В сушильном шкафу в беспорядке свалены чулки, нижнее белье. Когда мама была дома, мы хотя бы знали, где выстиранная одежда: на стуле в столовой.

Мама в больнице Уитчерч. Ее оттуда не выпускают, и я хожу с Евой ее навещать. Ева теперь повсюду водит меня за собой.

Ты — мой талисманчик, говорит она, позвякивая браслетом и улыбаясь. Я б тебя взяла к себе, детка, но мистер Амиль — она переходит на шепот, — мистер Амиль, он, Дол, такой странный. Немножко старомодный.

На самом деле она имеет в виду то, что он суеверный и боится моей больной руки; я слышала, как она говорила об этом Мартино. Он заходит по вечерам — помогает ей присматривать за нами. Он ходит через заднюю дверь, как отец. Мартино клянется, что ничего не знает ни про отца, ни про Сальваторе, ни про то, почему в «Лунном свете» заколочены окна и висит табличка «Продается».

Он такой молчун, говорит Ева, рассказывая мне это. Но мне, Дол, нравятся, когда они молчат.

Терпеть не могу мужиков-болтунов. Вот мистер Амиль — и она вытягивает лицо точь-в-точь как он — весь день: кудах-тах-тах, кудах-тах-тах. У меня от него голова раскалывается.

Мы все видели «Лунный свет», и я знаю, что это правда. Мы с Розой и Люкой стояли снаружи, а Ева зашла в бакалейную лавку рядом с букмекерской конторой и купила нам всем по мороженому. Мы как раз попрощались с Фрэн. Я лизала «Уиппи», и по руке текла сливочная струйка. Наверное, я должна была бы вспоминать, как любит мороженое Фрэн, особенно с вафельной крошкой, но думала только о том, что моя больная рука выглядит совершенно нормальной — потому что пальцы спрятаны за рожком — и по ней ползут жирные капли. Роза свое уже съела. Она стояла, вжавшись лицом в окно «Лунного света», загородив глаза ладошкой.

Как ты думаешь, там газировка осталась? — спросила она.

Ева доела эскимо и вытирала руки носовым платком. Потом наклонилась и утерла мне рот, раз, другой.

Ну вот, Дол, теперь ты у нас блестишь, как чайник. Роза, пошли! — крикнула она, а Люку схватила за капюшон плаща. Я провела языком

вокруг рта. Пахло ванилью и Евиными духами.

При больнице Уитчерч большой сад, а к главному входу ведет длинная извилистая дорога. Мы проходим через вестибюль и идем к флигелю. Мама сидит в шезлонге под пальмой. Волосы у нее поседели.

Посмотри, кого я тебе привела, говорит Ева. Я забираюсь к маме на колени, но тут же понимаю, что она этого не хочет. Держит меня секунды две и спускает на пол.

У нее, Дол, ноги болят, говорит Ева, заметив выражение моего лица.

Я гляжу на мамины ноги; они похожи на две огромные сосиски, торчащие из-под юбки. Одна забинтована толстым бинтом.

Что ты сделала? — спрашиваю я. Кто это сделал?

Никто, Дол, отвечает за маму Ева. Твоя мама еще не совсем здорова.

Мама улыбается, и ее лицо на секунду становится прежним. А потом снова застывает.

Какая у вас милая девочка, говорит она Еве. А что у нее с ручкой?

* * *

Мы отправляемся в город. Лиззи Прис едет со мной, Люкой и Розой покупать нам новую обувь и одежду. Сегодня ничей не день рождения, не Рождество, не праздник Тела Христова.

И к чему все это? — спрашивает Ева, когда мы возвращаемся. Она выстраивает нас в ряд и осматривает. Нам немножко стыдно — мы не могли выбирать то, что захочется, Лиззи Прис сказала, что можно идти только в те магазины, которые принимают талоны от Попечительского совета муниципалитета. Поэтому мы все в коричневом.

Что у нее на уме? — говорит Ева.

И скоро выясняет, что. Наш следующий поход — в фотоателье на Куин-стрит. На этот раз с нами отправляется и Ева. Она, как всегда, берет меня за руку, поэтому Лиззи Прис обходит нас и хочет взять меня за другую. Но тут вспоминает, и лицо у нее багровеет.

Вы лучше вон за *той* приглядите, говорит Ева, кивая на Люку. Как она себя на улице ведет — кошмар! Они идут впереди нас. Люка виснет на руке Лиззи Прис, как обезьяна на лиане. Ева смеется и наклоняется к моему уху.

Старушка Присси долго этого не выдержит!

Фотографа зовут мистер Ловелл. Он ведет нас в заднюю комнату, отгороженную черной занавеской.

Это, девочки, называется а-тэль-йээ, говорит он, словно мы не понимаем нормального английского, и усаживает нас на кожаную банкетку. Стоит нам пошевелиться, и она скрипит. Роза приподнимает то одну ляжку, то другую, и те, отрываясь от обивки, издают пукающий звук.

Это трогать нельзя! — орет он, когда Люка хватает треногу.

Экс-тер-мии-нировать! — вопит она, болтая в воздухе ногами.

Миссис Прис, будьте добры, угомоните их! — говорит он.

Мы замираем и в изумлении глядим на нее. Она, что ли за нас отвечает? Ева густо краснеет и отступает на шаг.

Зачем вам эти фотографии? — спрашивает она настороженно.

Для их матери, поспешно отвечает Лиззи Прис. Это поможет ей поскорее выздороветь.

Ева стоит в углу, сложив руки на груди и нервно постукивая каблуком. Мама тоже так делала, когда злилась.

Первой мистер Ловелл фотографирует меня. Он

наклоняет мою голову влево, разворачивает в ту же сторону плечи.

Смотри на меня, говорит он откуда-то из-за ламп, и я поворачиваюсь на его голос. Он снова подходит ко мне, усаживает в ту же позу.

Голову не поворачивай, говорит он устало. Только глаза.

Мудреная задача. Но я с ней справляюсь — вжик, и все кончено. С Розой и Люкой ему приходится повозиться: они не желают сидеть смирно, крутятся, а когда щелкает затвор, корчат рожи. С мистера Ловелла ручьем течет пот.

Ужас! — говорит он Еве и Лиззи. На многое не рассчитывайте — черного кобеля не отмоешь добела.

Мы зайдем после двух, говорит Лиззи, пропустив его оскорбления мимо ушей.

Нас ведут — кутнуть, весело говорит Лиззи — в бар прохладительных напитков Пиппо. Ева с Лиззи спорят, кому платить; обе размахивают фунтовыми купюрами, отталкивают друг друга — Нет, позвольте я! — пока Ева в конце концов не сдается и не садится рядом с нами.

Ну и пусть платит, пожимает плечами она. Корова жирная.

Лиззи Прис протискивается между круглым

столиком и подоконником. По тому, как она разворачивается к Еве, я догадываюсь, что она настроена на взрослый разговор. Роза балуется с соломинкой, пускает лимонадные пузыри, брызгает на Люку, засовывает соломинку в нос.

Думаете, *они* возьмут это на себя? — спрашивает Лиззи Прис Еву. Она имеет в виду Пиппо и Селесту.

Шутите? — отвечает Ева, помешивает ложечкой кофе, осторожно прихлебывает.

Но он же… он же взрослый человек. Он знает, что такое семья, пытается возразить Лиззи.

Он их не возьмет, мотает головой Ева. Они даже не стали возвращаться из свадебного путешествия.

Так они знают? — поражается Лиззи.

И что с того? — фыркает Ева. *Им* до этого дела нет. Селеста ни за что не возьмет на себя такую обузу.

Лиззи Прис смотрит на нас, и я отвожу взгляд.

Такую не возьмет, говорит она.

Фотографии готовы. Мистер Ловелл отдает Лиззи Прис несколько снимков в картонных рамках.

Я сделал вам дубликаты, говорит он. Для матери. Лиззи бросает взгляд на Еву, вздыхает и лезет за кошельком. На этот раз платит она, и с этим

никто не спорит.

Я на снимке нервная, напряженная, гляжу через плечо — как беглый каторжник. В любую секунду на меня набросятся собаки-ищейки и разорвут в клочья. Остальные получились и того хуже. Роза задрала подбородок вверх, ноздри у нее раздуты — как у бегемота, вынырнувшего из болота; у Люки глазки в кучку — как у Кейстоунских полицейских.[15] А увидев фотографию, где мы все вместе, Ева хохочет в голос.

Ну, ни дать ни взять — «Детки с Бэш-стрит»,[16] заявляет она. Лиззи Прис это смешным не кажется.

Агентство этого не возьмет! — говорит она. Мы их никуда не пристроим.

Агентство? — переспрашивает Ева. Это что ж, агентство по усыновлению?

Миссис Амиль, не надо при девочках, шепчет Лиззи Прис. Но они идут впереди нас, и мы слышим каждое слово.

---

[15] Примечания: 15

Персонажи комедии «Эббот и Костелло встречаются с Кейстоунскими полицейскими» (1955 г.).

[16] Примечания: 16

Персонажи комиксов.

* * *

Мартино надеется, что ему удастся этого избежать. Ему незачем туда возвращаться. Он видел, что началась потасовка, вот и все. Но Сальваторе преследует его целую неделю.

Не все, друг мой, убеждает он Мартино во снах. Мартино, решивший вообще не спать, ходит к Еве, сидит у нее ночь напролет, пьет кофе. Когда она велит ему идти домой отдохнуть, он уходит. Отправляется к Домино в «Ресто», где разговоры только о Фрэнки и Сале и о том, как они решили распорядиться этакими деньжищами. Завсегдатаи «Лунного света» спорят с постоянными посетителями «Ресто» за лучшие места, девицы борются за клиентов, но проходит вечер, другой, и всё успокаивается. Лен Букмекер ведет теперь дела с увеличившейся вдвое аудиторией.

Сколько на Мальту? — кричит он, облизывая кончик карандаша. У него на коленях лежит открытый блокнотик, испещренный рядами цифр и зашифрованными инициалами. Мужчины, столпившиеся вокруг него, качают головами и смеются.

Десять к одному, пытается он снова. Цена справедливая, парни. И шансы велики.

Так ли велики? — подает из-за стойки голос Домино. А если Джо их не найдет?

А если найдет? — кричит мужчина рядом с Леном. Сколько поставишь на бетонную шубу?

И они снова гогочут. Лен забирается на стул, пригибается, чтобы не задеть висящую прямо над головой лампу. Он глядит сверху вниз на набриолиненные головы.

Леди и джентльмены, прошу минутку тишины! Эй вы, сзади, сядьте-ка, будьте добры. Лен снова облизывает карандаш, ждет, пока стихнет смех.

Следующая ставка, леди и джентльмены, — «Лунный свет»! Пожар и стихийные бедствия в расчет не принимаются. Итак, ваши предложения? Женщина за соседним столиком протягивает ему виски с содовой. Он поднимает стакан.

Как насчет нового ресторана? — говорит он, делая невинные глазки. Домино вскидывает указательный палец.

Или букмекерской конторы, кричит он и поворачивается к Лену спиной. Толпа взрывается хохотом.

Хватит чушь молоть. Ну, ребята, давайте! Ему же понадобится вывеска. Что это будет — массажный салон, секс-шоп? Или нечто солидное и респектабельное?

Мартино этого вынести не в силах. Зарядившись еще парой виски, он выходит и направляется к порту. Глушит голос, звучащий в его голове, громкой песней.

Я с тобою такой молодой, и в душе вновь бушует весна!

И снова Сальваторе вытирает тряпкой стойку, глядится в до блеска отполированную латунь. Улыбается собственному отражению.

Как увижу улыбку твою, в полный голос от счастья пою!

И несет, подтанцовывая, поднос с пустыми стаканами к стойке.

Мартино распахивает дверцу машины и бежит. Мимо погрузочных площадок с задранными в небеса гигантскими клювами кранов, мимо зернохранилища, перед которым все припорошено мукой и пахнет крысами. У сухого дока он останавливается. Мартино медленно подходит к краю, замирает, собираясь с силами, наконец заглядывает вниз. Там темно, только покачивается малярская люлька с банками краски. Никакой Сальваторе не тянет рук из вязкой грязи. Мертвая тишина.

Мистер и миссис О'Брайан хотят меня, но не хотят Розу и Люку. Мистер и миссис Эдварде с

радостью возьмут Розу и Люку, они даже Фрэн, возможно, возьмут, если ее выпустят, но на меня они не согласны. Лучше уж пироманка, чем девочка-калека.

Мы очень хотим, чтобы вы остались вместе, говорит Лиззи Прис. Но на некоторое время вам, девочки, все-таки придется расстаться. Пока ваша мама не поправится. Поверьте, мне очень жаль.

А здесь мы остаться не можем? — спрашивает Люка. Люке так очень нравится; в школу ходить не надо, можно всласть скакать по диванам и кроватям, и никто тебе ни слова не скажет. Телевизор смотри хоть целый день, а когда с нами Ева, мы лакомимся жареной картошкой из соседнего магазинчика. С ней не то что с Карлоттой — она не заставляет нас мыться. Или молиться.

Чистый телом ближе к Богу, так? Да кому охота быть ближе к Богу? — говорит она, стирая в тазу белье. По мне, так старый грязнуля черт куда лучше!

Карлотта проводит ночи здесь, спит в Клетушке, и дверь держит открытой — совсем как отец. Иногда я слышу, как она разговаривает вслух — будто ведет с кем-то беседу. Я тоже подолгу не засыпаю. Мы с Люкой скатываемся в продавленную посреди кровати яму, она начинает меня

выпихивать, и мне приходится, чтобы снова не скатиться в ямку, держаться за край кровати. Вообще-то я не очень расстроюсь, если нам придется расстаться. Я только по маме скучаю. И по Фрэн. И по Еве буду скучать.

* * *

Вы выглядите гораздо лучше, Мэри, говорит маме Лиззи Прис. Вы ведь Долорес помните?

Мама бросает на нее взгляд, который говорит: Разумеется, помню. За кого вы меня принимаете? Но она молчит и только прижимает меня к себе так крепко, что у меня трещат ребра. Это очень приятно.

Вы, наверное, хотите побыть вдвоем, говорит Лиззи. Я вас оставлю.

А можно я пойду с ней погуляю? — спрашивает мама. Лицо ее сияет, и пахнет она по-другому, но она все равно моя мама. Зачем же ей спрашивать Лиззи Прис?

Лиззи задумывается, вздыхает легонько и говорит:

Думаю, можно, почему нет. Но только по саду. Мама берет меня за руку и уводит.

* * *

Карлотта сняла со всех кроватей белье, простыни, отжатые валиком, развешаны на веревке, а она теперь отмывает крыльцо. Делла Рили стоит, прислонившись к стене, и с удивлением на это взирает. Здесь теперь никто крыльцо не моет.

Дождь пойдет, и все насмарку, говорит она, злорадно пощелкивая пальцами.

Элис Джексон переходит улицу — поболтать.

Ой, Делла, ужас-то какой! — выпаливает она. Карлотта садится на корточки и смотрит на них.

Бедные детки, продолжает Элис. Как же так — отдают их на воспитание.

Их заберут в семьи, говорит Карлотта и, опершись побагровевшей рукой о стену, помогает себе подняться. Здесь, неподалеку.

Она машет в сторону.

А вы что, не можете за ними присмотреть? — вскидывает брови Делла. Вы же справитесь не хуже.

Мне не разрешат, говорит Карлотта, повторяя чужие слова. Я женщина одинокая.

Она поднимает ведро и выплескивает грязную воду на тротуар. Элис Джексон приходится отскочить в сторону. Женщины умолкают. За спиной

Карлотты Делла с Элис обмениваются улыбками. Она берет швабру и гонит мыльную воду в сточную канаву.

А дом продадут? — спрашивает Элис.

Карлотта пожимает плечами, следит взглядом за пузыристыми ручейками, растекающимися по трещинам тротуара.

Тут Мэри будет жить, говорит она. Когда поправится. Она берет ведро и идет в дом.

Прошу меня извинить, говорит она. Здесь я закончила.

Обе женщины прикрывают рты ладошками.

Ну что, Элис, тоже пойдешь крыльцо мыть? — спрашивает Делла.

А как же, хмыкает Элис. Я ж его каждое утро мою.

* * *

Мы идем вдоль железной дороги, мама и я. На мне новое коричневое платье и новый коричневый плащ. Сегодня днем меня отведут к О'Брайанам.

Дол, дождь начинается, говорит мама, повернув руку ладошкой вверх. Но нам ведь дождь не страшен, правда?

Мы идем по насыпи, друг за дружкой. Дождь

припускает, вода течет струйкой по капюшону, капли отскакивают от воротника. Мама впереди, ссутулилась. Куда мы направляемся, я не знаю, но что-то мешает мне об этом спросить. Я стараюсь идти с мамой в ногу. Мы так бредем довольно долго, и дождь все сильнее, вода затекла мне за шиворот. Я дважды подвернула ногу. Где-то далеко впереди рельсы скрещиваются.

Гляди-ка, говорит она наконец и наклоняется, поднимая с земли камушек. Вертит его пальцами.

Кремень, говорит она. Кремнем можно высечь огонь.

Зачем? — спрашиваю я, и тут же понимаю, что задала неправильный вопрос. Надо было спросить «как», и тогда она бы мне объяснила. А я спросила, зачем нам разводить огонь. Она показывает мне кремень, крутит его — здесь блестит, а здесь — тусклый. Ногти у нее обломаны.

Он раскололся, говорит она. На две части.

Она опять наклоняется, приседает, а я гляжу поверх нее — на пелену дождя, на кусты ежевики, дрожащие на ветру. Она кладет голову на рельсы. Некоторые выбирают такую смерть, но я этого в свои пять лет еще не знаю. Я знаю про динозавров и поп-музыку, про праздник урожая,

про Деву Марию и про то, как Христос страдал за нас, но я не знаю про самоубийства и про то, что пассажирский поезд может раздавить череп всмятку. Она улыбается мне с рельсов, к щеке прилипла прядь волос, похожая на водоросли. Она встает, смахивает с лица капли. Нету поездов, говорит она.

Мы бежим по дорожке к кусту ежевики. Мама осматривает его, поднимает нижние ветки палкой. Внизу ягоды крупные, черные, едва дотронешься — соскакивают со стерженьков, только успевай ладошку подставлять. Она протягивает мне руку, уже всю в ягодных кляксах. На вкус ежевика водянистая. Это наш последний день.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Ожидание 2

Дом на месте, и спальня, которая была когда-то нашей общей, все та же: два окна на улицу, угловой встроенный шкаф, туалетный столик с трехстворчатым зеркалом. На полу вытоптана дорожка от двери к окну. Обои поклеили потом, их рисунок — стилизованные цветы — похож на половинки луковицы или, при определенном освещении, на бледный бутон остатков моей кисти. Я присаживаюсь на край двуспальной кровати — теперь она уже не кажется такой огромной, — и железная рама холодом прожигает насквозь джинсы, кожу, кости. Под окном стоит сундук. Я жду, пока глаза привыкнут к темноте, жду, когда его очертания отделятся от стены и тени и он станет самим собой — длинным, низким, продолговатым. Он принадлежал моему отцу, а теперь станет моим: я заявляю на него свои права. Я возьму, что смогу. Спустилась тьма. Пока длится ожидание, я снова вспоминаю.

Когда я родилась, меня положили в этот сундук.

* * *

Я отправилась в путь в среду днем, когда получила от социальных служб письмо, где сообщалось, что моя мать умерла. Я положила в сумку смену белья и две странички из библиотечного телефонного справочника — там были перечислены все Гаучи Кардиффа. Похороны были назначены на утро пятницы. Я не знала ничего, и мне нужно было время. Я представила всех своих сестер, состарила их, наделила семьями, проиграла в уме их жизни. Селеста, Марина, Роза, Фрэн, Люка — скользкие, как новая колода карт. Мы никогда не поддерживали связь: не знаю уж, по чьей инициативе. К тому времени, когда я пошла в новую школу, я уже была единственным ребенком. У моих подруг были братья и сестры, а у меня сны: вот Люка с Розой надо мной издеваются, а вот Селеста — холодная и далекая, я даже лица ее никогда толком не могла разглядеть. Просыпалась я спеленатая, потная, задыхающаяся. Со временем кошмары ушли, осталась только Фрэн, какой я ее помнила: стоит ссутулившись в предутреннем свете и молча складывает одеяло.

Вся остальная колода тоже казалась далекой — отец, Сальваторе, Джо Медора. Валет, джокер,

король. В последний раз я видела отца в вечер Селестиной свадьбы. И наверняка знала лишь одно: я больше никогда не увижу маму.

Внизу мерцал в неровном свете Кардифф. В лучах заходящего солнца кипели оранжевыми клубами облака, и воздух был после дождя влажным и чистым. Я не была готова к таким краскам. Прежде все было серым: тусклый перламутровый глянец, свинцовые дома, вонь речушки — как уголь на ветру. Были пронизывающе-острые моменты: походы на пирс глядеть, как причаливает корабль, один раз — в цирк, бесконечно много раз — в больницу, а еще вечерние поездки к Карлотте на дребезжащем трамвае: сидишь тихонечко и смотришь, как мама спорит с кондуктором о плате за проезд. Встречались люди, которых маме приходилось избегать, и мы искали укрытие в проулках и подворотнях, где она, глядя на меня, прижимала палец к губам. Мы стояли, прижавшись друг к другу, и ждали, пока опасность минует. А все прочее затянуто пеленой времени.

Теперь же город стал деловым, подтянутым, целенаправленным. В очереди на такси какая-то женщина оттолкнула меня и пролезла вперед. Я молча отступила в сторону и ждала реакции

окружающих — будто я маленькая девочка, будто взрослая я осталась в Ноттингеме, где все хорошо и спокойно.

Будешь здесь стоять, вообще такси не дождешься! Давай сюда, красавица! — крикнул с той стороны улицы водитель такси-малолитражки, решивший перехватить клиента. Он был в клетчатой кепке и белой майке — на два размера меньше, с нарисованным на ней ковбойским сапогом. Под тонким трикотажем — примятый куст кудрявых волос, как набивка старого дивана. Хмурясь и улыбаясь одновременно, он усадил меня на заднее сиденье.

И куда ты меня потащишь? — пошутил он.

Я сообщила ему, куда мне надо.

Ты ничего не путаешь? В той стороне ведь всё снесли.

Моя мама там живет до сих пор, сказала я.

Он навел справки по рации.

Попробуем подъехать поближе, пообещал он.

Мы тащились по забитой машинами Сент-Мэри-стрит. Заметив просвет, он свернул на еще пустое новое шоссе. Из окошка я видела свежий черный гудрон, ослепительно белую разметку, ленту дорожных конусов. Молодые деревца у дороги трепетали в вечернем свете. По пути во-

дитель показывал мне достопримечательности.

Вон там, справа, — оптовая ярмарка… Еще минута, и покажется Бьют. Здесь таких чудес понастроили. Вот какая у нас биржа — загляденье!

Я опустила стекло, запахло пеплом, а потом потянуло солью. Запах, который я знала и забыла: запах прилива, кожа возлюбленного, солоноватая на вкус. Вдалеке дергался заводной игрушкой экскаватор, ослепительно желтый на фоне поблескивающего моря. Крохотные чайки как клочки бумаги трепыхались на ветру: видно, там что-то копали.

Мы свернули со строящегося шоссе в жилые районы, проехали квартал, другой, запах соли ушел, и слышался только хруст кирпича. Небо между крышами было низким и тяжелым. Такси ползло еле-еле.

Это все обречено, сказал он.

Я искала взглядом людей. На углу стояли две девчонки, руки в рукава; бледненький малыш в одном только красном пуловере выскочил из двери дома, а вслед ему несся крик другого. Водитель остановился у тротуара.

Ближе не подъехать — разве что кругом.

Ничего, и так хорошо, сказала я. Но хорошо не было: я думала о тех, кто, быть может, до сих пор

здесь, — о Еве, о семействе Рили из соседнего дома, о Джексонах. Наверное, водитель прав, и скоро на этом месте будут одни развалины. Он взялся за ручку моей сумки, вытащил ее. Протянул мне карточку — «Такси Карла» — и улыбнулся.

Понадобится куда, звоните, сказал он.

Заморосил дождик — мелкий, и не поймешь, то ли дождь, то ли туман: совсем как прежде.

Я пыталась сообразить. Там, где некогда была лавка Эвансов, выросли приземистые коттеджи желтого кирпича. За ними — четкие контуры гостиничного комплекса, недостроенная автостоянка, балка, болтающаяся на стрелке крана. Улицы словно вымерли, окна разбиты, двери заколочены. Табличка с надписью «Лауден-плейс» забрызгана золотой и зеленой краской из баллончика. В конце проулка была раньше Площадь, но теперь я увидела только помятые ворота гаражей, фонарь, из которого выпотрошенными кишками торчали провода, и лошадь, пасущуюся на клочке куцей травы. Я шагнула к ней, протянула руку. Мы глядели друг другу в глаза, но тут она отпрянула в сторону — насколько позволяла веревка. Из верхнего окна типового дома послышался крик:

Эй, вы! Не троньте ее!

Голос был детский. Из окна высунулся маль-

чишка лет восьми.

Да я ничего не делаю, сказала я.

Давай вали отсюда! Шлюха!

Бежать мне не хотелось. За угол, по проулку, на Ходжес-роу. На двери дома номер два — маминого дома и моего — слой грязи. Она потемнела от дождя. Шторы в столовой расходились посередине. Там никого не было.

А тупик по-прежнему заканчивался стеной. На обочине стояла машина, упершись капотом в дверь последнего дома. Ева жила в среднем доме. Я постучала, подождала, присев на корточки, приоткрыла щель почтового ящика. Внутри было темно и пусто, только из комнаты в конце коридора сочился свет. Дверь была занавешена куском зеленого брезента, похожего на поникший флаг. Из-под него выглядывала пара ног. Я прижалась ртом к щели и крикнула:

Ева! Мистер Амиль!

Ноги исчезли.

Я дочка миссис Гаучи! — крикнула я. Мне нужен ключ!

Но шагов не послышалось, цепочка не звякнула. Я снова нагнулась посмотреть и увидела, что ноги снова замерли в дверном проеме.

В окне дома Джексонов стояла картонка, на

которой была изображена немецкая овчарка с высунутым языком. «Здесь живу я!» — гласила она. Я нажала на звонок, но он молчал, только на грязной кнопке остался след моего пальца. Одно из верхних окон было заколочено, другое разбито — в нем болтался кусок серой сетки.

Нету там никого, раздался голос за моей спиной. Съехали они.

В дверях дома номер четыре стояла женщина. Увидев меня, она охнула и прижала руку к груди.

Бог ты мой! Мэри!

Старушка эта оказалась той самой миссис Рили, которая была нашей соседкой и тридцать лет назад. Она пригляделась повнимательнее, разглядела и мое лицо, и руку. Представляться мне было не нужно.

Миссис Рили принесла фонарь, опустилась на колени на крыльце маминого дома. Я было подумала, что она собирается произнести молитву, но она уперлась плечом в стену, засунула руку в почтовый ящик. Вытащила оттуда длинный грязный шнурок с ключом. Его бороздка сверкнула, как лезвие ножа.

Я тебе покажу, где что, сказала она и добавила, повернувшись ко мне: Только ты там *ничего* не

найдешь. Ничего стоящего. Словно я ее в чем-то обвиняла.

Раньше надо было потянуть дверь на себя, сказала я. Но ключ легко повернулся в замке.

Ей его *еще когда* починил и, сказала она, открывая дверь в мой дом.

Тринадцать

Газ отключен, и здесь холодно. В чулане под лестницей свалены в кучу туго набитые пластиковые мешки, из них лезут тряпки, что-то острое дырявит им разбухшие бока. Миссис Рили включает фонарик, его изломанный луч шарит под лестницей, и от того, как свет плавает по стенам, у меня сводит живот. Вот коробка со старой обувью, битой посудой, кусками угля. Я поправляю торчащее картонное ухо — убираю, чтобы не мешалось, прикрываю дверцу чулана, на которой темнеют отпечатки маминых пальцев. Красный огонек в углу лениво мне подмигивает; это новый счетчик, электронный. Идущий от него кабель припорошен рыжей пылью. Помню, как раньше в счетчик кидали шиллинги. Я сидела тут и смотрела на крутящееся в окошечке колесико, считала, через сколько секунд красная полоска появится снова.

Давай-ка лучше я, говорит миссис Рили и отстраняет меня.

Она отдает мне фонарик, а сама лезет на мое место. Я стою за ней, навожу луч на кучу мешков в глубине.

Держи фонарь ровно, кричит она. Здесь темно, как в аду.

Она пригибается, утыкается в мешки, находит газовый вентиль.

Ну, вроде всё! Должен работать.

Газ включили, в столовой все сильнее пахнет пылью. Под окном, где раньше был стол, а на нем куча стираного белья, «Криминальные новости», мой альбом для рисования, теперь стоит кровать. Миссис Рили осторожно присаживается на краешек, смотрит на руки — они в пыли. Рядом с ней лежит посудное полотенце с красной надписью «Ирландский лен» по краю.

Вот, возьмите, — протягиваю я ей полотенце.

Нет уж. Им ей подбородок подвязывали.

Она смотрит на меня пристально. Хочет что-то рассказать, но я не собираюсь спрашивать. В библиотеке я часто таких вижу: сидят в завязанных под подбородком платочках за столом, заваленным газетами, и с упоением читают некрологи. Приносят с собой термосы с чаем и завернутые в фольгу бутерброды. Для них это вроде пикника. Миссис Рили из их числа. Может, и мама была такой.

Она кладет полотенце на колени, разглаживает ладонью складки — словно кошку гладит.

Ваше, да? — догадываюсь я.

Моё.

Она складывает его, разворачивает, снова складывает.

На рынке на фунт три штуки. Только качество не то.

Поворачивает голову, смотрит на подушку.

Красивая была женщина твоя мама. Даже под конец.

Берет фонарик, поднимается с кровати, аккуратно кладет полотенце на покрывало. Оно остается в уголке моего сознания; теперь оно означает нечто другое.

Надо его свернуть в трубочку, говорит она доверительно. Туго свернуть, и под подбородок. Чтобы челюсть закрепить.

Рука ее поднимается к шее, скользит по складкам кожи. Она скалится, обнажая зубы.

Здесь ценного ничего нет, говорит она. Ни денег, ничего.

Я приехала похоронить мать, говорю я, провожая ее.

Она уходит, и я захлопываю дверь, захлопываю с такой силой, что дрожат стены, а голая лампочка посреди комнаты качается, и по комнате мечутся тени.

Ценного здесь, миссис Рили, нет ничего, но я мысленно составляю список всего, что здесь есть. Провожу инвентаризацию, каталогизирую, делаю перекрестные ссылки. Это я умею. Вот столовая с кроватью, посудным полотенцем, креслом, телевизором на столике в углу. Рядом с газовым камином латунное ведерко для угля, а в нем журналы — «Путешественник», «Кроссворды и головоломки», «Отдохни!». В углу очага пылится шариковая ручка. На каминной полке обшарпанный синий очечник. Я ни до чего не могу дотронуться. Ни картин на стенах, ни безделушек на камине, ни абажура. Месяц назад — две недели назад — здесь жила моя мама. Ходила тут, смотрела вечерами телевизор: звук приглушен, на коленях журнал, ручка наизготове. Чем она занималась под конец? Под конец она начала все заново: приводила все в порядок, убиралась. Может, ждала, что мы вернемся.

Теперь — на кухню. Я сажусь на нижнюю ступеньку лестницы, гляжу на стол и два придвинутых вплотную стула с прямыми спинками, на ванну с поднятой крышкой, на плиту, где на конфорке стоит, скособочившись, пивная кружка с толстяком Тоби. Раньше она красовалась посреди стола. У каждой вещи было свое место. Из круж-

ки торчали ручки, ими отец обводил кружком имена лошадей, на которых собирался ставить, а мама писала долговые расписки. Тут же вспоминается Люка — как она хватает ручку и царапает на моей руке «Дол», чтобы резать по надписи; и Фрэн с ее синими татуировками. Вспоминается и мама — как она стоит во дворе, закрыв лицо руками. В тот раз под кружкой были деньги.

* * *

Никуда ты не поедешь, и дело с концом!

Роза ждет, пока стихнут шаги Теренса во дворе. Она сидит неподвижно, слушает тик-тик-тик настенных часов. В форме чайника. Она копила на них купоны. На часах без десяти десять. Роза встает, подходит к холодильнику, достает из морозилки пакет с горошком. Прижимает его к разбухающей скуле.

Поеду, говорит она чайнику-часам. Ни хрена ты мне не запретишь!

Роза живет в Понтканне. Все дома тут одинаковые — квадратные коробки на две квартиры с прямоугольным клочком земли перед входом. Большие трехстворчатые окна демонстрируют всему миру, что внутри, а там — все самое обык-

новенное.

Вставай, Парснип, говорит она. Мы уезжаем.

Пес, который все это время тихонько лежал под столом, с надеждой следя за Розой глазами, вскакивает и тычется носом в заднюю дверь.

Роза выходит в холл, нагибается, сует руку под край ковра на лестнице. Шарит, вытаскивает деньги. Пересчитывать незачем — она забирает всё. Роза несет деньги в кухню. Конверта у нее нет, резинку никак не может найти. Зажав купюры в кулаке, она ищет кошелек, а потом вдруг замирает и заливается смехом: его, наверное, Теренс взял. На чайнике-часах десять десять. Роза берет пакет с горошком — он подтаял, стал мокрым и скользким — и рвет его зубами. Вываливает горох в раковину, пускает горячую воду, проталкивает замершие комочки в слив. Купюры она сует в пакет, а его — в сумочку на длинном ремешке.

Роза идет по улице. Вдалеке торговый квартал с китайским кафе, аптекой с зарешеченной витриной, новое кирпичное здание бара. В свете фонарей по обе стороны от входа поблескивают оранжевые капли. Дождь уже льет вовсю. Пес перестал отряхиваться, тянет Розу куда-то в сторону. Она слышит взрывы хохота из паба — раскатистый, немного пугающий мужской

смех. На автобусной остановке парочка юнцов.

Когда следующий? — спрашивает Роза.

Они пожимают плечами. У того, который помладше, зажата в кулаке сигаретка. Он сосредоточенно затягивается. Второй высовывает голову из павильона, кивает куда-то вдаль.

Идет уже, говорит он.

Роза видит на вершине холма фары автобуса. Она прижимает к себе сумочку. Доедет до конечной, а уж оттуда возьмет такси.

* * *

Лампочка на лестничной площадке не горит, но по тусклому свету, сочащемуся сверху, я понимаю, что дверь в мою бывшую спальню открыта. Это меня не пугает. Колючее, как отцовское дыхание, дуновение ветра гонит меня вверх по лестнице. Я жду в темноте, когда перестанет колотиться сердце. Вижу кровать и деревянный сундук под окном. Все в порядке.

Я оттаскиваю настольную лампу — насколько позволяет шнур. Абажура найти не могу; абажуров здесь вообще нет. Представляю маму, сидящую под голой лампочкой. Пытаюсь пододвинуть поближе сундук, но он слишком тяжелый; я открываю крышку и вижу, что он

забит до отказа: старая одежда, куски кремня, соломенная шкатулка. Я провожу рукой по ткани, по блестящему камню, вожусь со шкатулкой, она наконец открывается, а там глазурованная статуэтка олененка, расколотая надвое. Что-то я про него помню, но смутно. Соломка хрустит под моими пальцами.

На верхней полке шкафа я нахожу два сложенных одеяла. Я их встряхиваю — они слежавшиеся и сырые, но всё лучше, чем кровать внизу. Ставлю чашку с водой на пол, вскрываю подарочную коробку конфет, съедаю несколько штук. Я оказалась совершенно неподготовленной: думала, телефон работает, ночной магазин открыт, отопление включено, холодильник тоже. А здесь все пусто, холодно, заброшено. Одна только миссис Рил и со своими намеками. Откуда-то издалека, с улицы, доносится громкая лязгающая музыка. Я поднимаю шпингалет окна, оно сначала не поддается, потом с оглушительным треском распахивается. Вижу только машину у тротуара, и только через минуту соображаю, что музыка звучит оттуда. Внутри две застывшие фигуры. Из окошка водителя вьется дымок.

В темноте шум всегда громче. Начинает светать, я лежу в серой дымке и гляжу в потолок,

стараясь не обращать внимания на запах, который идет от подушки, на волглое одеяло, на боль, которой пронизан дом. Лампочка, остывая, потрескивает, в окно стучит дождь, на улице раздаются шаги и вдруг стихают. Шорох у двери, шебуршание в почтовом ящике, легкий ветерок. В дом кто-то входит.

Кто здесь? — слышен голос снизу. Кто это? Голос все ближе, и вот в дверном проеме возникает женщина, а я, готовая к обороне, держу настольную лампу наперевес. Я смотрю на женщину, и она мне улыбается. Ее мокрые волосы кудряшками обрамляют лицо, белая стеганая куртка промокла насквозь, узкие брючки потемнели на коленях. За ее спиной, у лестницы, стоит продрогшая ищейка.

Вот те раз! — говорит женщина. Это что за бедная сиротка?

Она щурится от яркого света.

Дол, ты что, гостиницы не нашла? Я узнаю интонацию. И женщину узнаю.

Роза, ошарашенно говорю я, Роза…

Я сажусь, прислоняюсь спиной к холодной стене. Словно никуда не уезжала. От внезапного появления Розы легче не стало. Она ищет носовой платок — в сумке, в карманах. Вытаскивает серый

обрывок туалетной бумаги. При электрическом свете ее синяк кажется размазанной по скуле грязью. Она громко сморкается в бумагу, комкает ее и этим комком трет глаза. Будь я с ней мало знакома, решила бы, что она растрогалась.

Ну и ну! — говорит она, рассеивая все иллюзии. — Наша Уродина вернулась.

Смотреть на нее — все равно что глядеться в чайник. У Розы переносица шире, кожа чуть смуглее, подбородок помассивнее, шея покрепче. Под глазами залегли тени, но это не синяки — у меня то же самое. И рот такой же, с опущенными уголками. Как у мамы: она говорила, это от обид и разочарований. Роза угощается конфетами и рассказывает свою историю: про Теренса и армию, про то, где они побывали, про Брайана и Мелани — своих уже взрослых детей. Она откусывает кусочек, разглядывает начинку и скармливает конфету собаке.

Они ненавидели отца до дрожи, говорит она и проводит языком по деснам. А теперь он, видите ли, стал хорошим. «Ах, бедный папочка! Дай ты ему отдохнуть!» Ничего так, да? Короче, живу как живу. Рассказывать особо нечего.

Рот застывает привычным полумесяцем. Наверное, мама права: разочарования передаются

по наследству.

А где Теренс сейчас? — спрашиваю я.

Роза только ухмыляется. Заглядывает в сумочку, вытаскивает пакет из-под горошка, набитый деньгами. Услышав шелест, пес подходит и садится перед ней. Кладет лапу ей на колено.

Пусть-ка хоть чуток сам о себе позаботится. Отстань, Парс! Это пойдет ему на пользу. Меня больше никто и никогда ударить не посмеет.

Эта фраза звучит заученно; она явно произносит ее не впервые. Мы молча смотрим на собаку. Роза рассказала мне свою жизнь — перепрыгнула через разделявшие нас годы, как через соседский штакетник. Я понимаю, что от меня она ждет того же; она сложила руки на груди, поджала губы.

И вдруг — ты! Откуда ни возьмись!

Я рассказываю ей про письмо, которое мне прислали социальные службы.

А *мне* так и не сообщили, говорит она. Мне — нет, а Селесте — да. Ну вот, она звонит, а я на работе. Подошел Теренс, а она ему: «Передайте Розе, ее мать умерла. Похороны в пятницу». Так и сказала—не «наша мать», а «ее».

Ты ее никогда не навещала?

Кого? Маму? Почему ж? Пыталась. Она вроде как меня не узнавала. Ее то и дело в Уитчерч

складывали. *Тебе-то* об этом небось и невдомек было.

Больница Уитчерч. За ней железнодорожные рельсы. Дождь. Гравий, Тогда я видела маму в последний раз. А Роза хочет меня укорить.

Меня увезли, говорю я. Звучит это так, будто я оправдываюсь.

Да, Дол. Но нет такого закона, который запрещает вернуться.

У меня нет для нее ответа. Всех увезли. Кроме отца — он просто сбежал. Роза мнет в пальцах комок бумаги, рвет его на кусочки. Они падают из ее руки на пол, а пес их слизывает — словно это снежинки.

А папа?

Нет.

Я спрашиваю о Фрэн и Люке. Роза качает головой. Она наклоняется погладить собаку, замечает на полу чашку с водой, тянется за ней. Сует псу под нос, и он послушно лакает, брызжа ей на запястье.

Знаю только, что Селеста в полном порядке. Семейный бизнес, два сына при ней. Старина Пиппо отправился на ту фабрику газировки, что на небесах, и она теперь богата. Шикарная дамочка наша Сел.

И Роза разражается громким горьким смехом. Маминым.

Со мной она знаться не хочет, это точно, говорит она, оглядывая меня с головы до ног. Так что — без обид, Уродина, — могу предположить, что и тебя она вряд ли рада будет видеть.

Четырнадцать

Селеста не хочет видеть никого. Ужин погиб.

Скоты неблагодарные, говорит она пустой кухне, сваливая картошку, мясо, застывшую подливку в мусорное ведро. Она слышит, как все звонит и звонит телефон, и автоответчик включается за секунду до того, как она подходит.

На линии далекий гул, еле слышное «Алло!», а потом ничего — только в холле отдается эхом ее записанный на пленку голос. Она распутывает телефонный шнур. Все равно это не мальчики звонили. Голос был женский. Похожий на мамин. Селеста глядит на влажный след ладони на трубке.

На другом конце города Луис и Джамбо Сегуна стоят у входа в свой новый ресторан. Каждую минуту по залу проносятся дугой лучи света, вырываются на улицу, короткими всполохами скользят по ним. Предполагалась имитация лунного света, играющего на волнах, но Джамбо это кажется дешевкой. Напоминает елочные гирлянды и школьные дискотеки. Луис же гордится этим изобретением; ему нравится всё, что блестит.

Ну что уж тут особо ужасного? — кричит он. По мне, так все отлично. Джамбо, задрав голову, глядит на стеклянный фасад; здесь ему столько всего противно, что он и не знает, с чего начать. Например, с названия: на стеклянной вывеске размашисто выведены два слова — «Лунный свет». Джамбо достает из жилетного кармана отцовские часы, всматривается в мерцающий при вспышках света циферблат.

Мы опаздываем, говорит он. Мама нас убьет.

Молодые люди стоят друг напротив друга. Разница у них — всего пять лет, но Джамбо уже выглядит как отец в зрелом возрасте: брюшко, ранняя лысина, походка вразвалочку. Луис же, наоборот, напоминает молодого поджарого кота.

Скажи, что ты хочешь изменить, говорит он. А я подумаю, что можно сделать.

Да всё. Витрину, свет. Это кретинское название.

Это ретро, говорит Луис. Название историческое. Видел бы ты, как это было, Джам…

Джамбо его останавливает. Он не разделяет пристрастий Луиса, который обожает шататься по сомнительным заведениям, беседовать со стариканами о былых временах. Он заинтересован в абсолютно другой клиентуре. Хочет

заманить сюда людей с большими деньгами. Чувства матери—лишь малая толика от суммы его возражений, но сейчас он готов использовать любые средства.

Мама очень огорчится, говорит он.

Как она вообще?

Зашел бы и посмотрел, говорит Джамбо. Но по тому, как Луис ерзает, понимает, что сегодня вечером тот к матери не пойдет. Джамбо не предлагает его подвезти.

Передай ей привет, ладно? — кричит Луис в спину Джамбо.

Непременно, бормочет Джамбо, садясь за руль. В висках стучат молоточки надвигающейся мигрени. Наверное, это от неона, думает он.

В доме на Коннот-плейс Селеста стоит посреди просторной спальни и размышляет. У нее шумит в ушах, голос в голове все твердит и твердит: тебе туда идти необязательно. Селеста отодвигает дверцу шкафа, вынимает черную юбку с пиджаком и бросает на кровать: последний раз она надевала их на похороны Пиппо. Она наклоняется и просматривает коробки с обувью. Все подписаны, в каждую пару вставлены деревянные распорки, чтобы сохранить форму. Среди юбок и платьев висит отдельная вешалка с по-

ясами. Селеста отодвигает ее, и один из поясов соскальзывает змейкой на пол. Она следит краем глаза, как раскручивается кожаное кольцо. И вдруг видит совсем иное: ремень взлетает вверх, рассекает темноту, впивается в детское тело, исторгает из него плач.

Я *не обязана* идти, говорит она, присев на корточки. Никто меня не заставит.

Селеста не хочет присутствовать на этих похоронах. Не хочет никаких сюрпризов.

Джамбо ставит машину у дома на Коннот-плейс, глядит на окна. На первом этаже темно. Из окна материнской спальни пробивается сквозь плотные шторы узкая полоска света. Нажав на брелок, он запирает машину и поднимается по белым надраенным ступеням.

Селеста, лежа на кровати, слышит коротенькие гудки сигнализации, слышит, как распахивается входная дверь. Она садится и прислушивается к шагам Джамбо: вот они стучат по кафелю холла, стихают, когда он проходит по ковру столовой, скрипит дверца духовки. Значит, он один, без Луиса.

Мам, это я! — кричит он. Ужин есть?

Селеста ложится на кровать, глядит в потолок.

В помойке, говорит она вполголоса.

* * *

В самом конце зала крохотная женщина в сари и розовом фартуке подметает пол. Она полностью поглощена работой и не замечает никого. Она волочет метлу и мешок с мусором по залу аэропорта, мимо справочного бюро, мимо пункта обмена валюты и рядов хромированных кресел, задевает им скрюченные тела спящих по углам. Ей наверняка осточертело это бесконечное пространство. В аэропорту полы бескрайние — как небо, которое бороздят самолеты.

Люка прижимает телефонную трубку к уху. Она что-то кричит, пялится на всех, кто пялится на нее. Они не видят, каким взглядом она на них смотрит: ее глаза скрыты темными очками. В ушах звенит голос диктора, объявляющего на трех языках о задерживающихся вылетах и о самолетах, которые не могут приземлиться. В Амстердаме туман, вязкий и густой, как мокрота. Люка застряла в аэропорту.

Да заткнитесь вы Христа ради! — орет она.

На обложке книжки Люка записала три номера, которые дали в справочной. Со второй попытки она попадает на Джамбо, но разговор прерывается. Да там, может, штук пятьдесят Сегун, думает

она. Не звонить же всю ночь чужим людям.

* * *

Джамбо заглядывает в спальню матери. Селеста лежит, свернувшись калачиком поперек кровати и подложив под голову черный пиджак. Он видит ее прикрывающую глаза руку, сжатые губы. Непонятно, спит она или просто отдыхает.

Мама, говорит он. Мам, там звонят, по-моему, это тебя.

Селеста садится. Левая рука затекла. На щеке отпечатались пуговицы.

Господи… Который час? Она берет с тумбочки телефон, слышит далекое эхо и звук телевизора внизу.

Алло! — говорит она. Язык со сна еле ворочается. Она поднимает глаза на Джамбо.

Там тишина, говорит она, протягивая ему трубку, из которой слышатся короткие гудки.

* * *

Люка приехала — все еще едет — из самого Ванкувера. Девочек она оставила на новую корейскую домработницу, в новом доме в пригороде. Муж Люки уехал в Монреаль на конференцию.

В прошлом месяце он стал ее бывшим мужем. В жизни Люки много нового. Она находит местечко рядом с буфетом, садится напротив храпящего мужчины. Совершенно безжизненное тело, только воздух мечется по носоглотке — туда-сюда, туда-сюда. Она закрывает глаза и представляет каждый всхрап в цвете: зеленый — коричневый, зеленый — коричневый. Храп становится глуше и меняется — теперь это ходит, вгрызаясь в дерево, пила — вверх-вниз, вверх-вниз.

Папа!

Люка стоит во дворе и смотрит, как отец пилит старую дверь. С пожара прошло больше месяца, но у стены в углу все еще свалены обгорелые доски, в паутине чешуйки пепла. Мама наверху, в Клетушке. Где маленькая сестренка, она не знает, слышит только ее плач. Люка осторожно пробирается по грязи, ставит ножки в огромные отпечатки отцовских башмаков.

Ты чего делаешь?

Иди в дом.

Па-ап…

Я кому сказал, в дом!

Он замахивается ножовкой, словно собирается распилить ее пополам. Люке всего два годика; она еще не научилась его бояться. Он берет ее за ши-

ворот, вцепляется в волосы и шею, Люка вопит. Он зашвыривает ее в дверь, она падает лицом вниз на бетонный пол. Потрясенная Люка лежит молча, глядит на загнувшийся кусок линолеума у порога. Мама спускается сверху, переступает через Люку, не обращая на нее внимания, склоняется над мойкой. Сует голову под кран, глаза ее видят девочку на полу, но до сознания это не доходит. Мама жадно пьет. Вода льется изо рта, по щеке, по волосам. Она снова перешагивает через Люку и поднимается к себе в комнату.

Люка открывает глаза. Она не позволит воспоминаниям ее мучить.

Дурные сны, тихо говорит она. И больше ничего. Она находит скамейку, на которой можно улечься, утомленно щупает себя под ребрами, там, где боль. У неё есть таблетки, но она слишком вымоталась. Внутри растет усталость. Она ляжет, но спать не будет. Хватит с нее дурных снов.

Роза тоже ложится — на кровать, где неделю назад умерла ее мать, но ее это не путает, наоборот, она даже рада. Она закрывает глаза, но через несколько секунд с изумлением понимает, что они снова открылись. Она видит не потолок, по которому косой молнией бежит трещина, не то,

как кулак Теренса врезается ей в скулу, она видит не отца, трясущего за плечи Фрэн. Нет, она снова видит маму, видит, как мама встает с кровати, а на стенах клочьями висят рассветные сумерки. Она видит, как мама торопливо шагает с Мартино по улице, сворачивает в проулок. Розе надо спрятаться. Она разбила Селестиным мячиком окно Джексонов. Они смотрят друг на друга, Мартино обнял маму, гладит ее по плечам. Так легонько и ласково, что Роза даже не понимает, в чем дело. Они о чем-то говорят. Вдруг над крышами летит голос миссис Джексон, ветер подхватывает его и доносит до проулка.

Пожар, миссис! Ваш дом горит!

Она кричит так звонко и весело, что Роза чуть было не подхватывает знакомую песенку.

И ребенок погиб.

* * *

Кто-то громко храпит — то ли Роза, то ли пес, мне отсюда не разобрать. Слушать это сплошная пытка: только думаешь, вот вроде всё, и тут надвигается новая рулада. Я впериваю взгляд в сундук под окном. Кошмары носятся вверх-вниз — мечутся, будто чайки на горизонте. Что-то рвется наружу.

Пятнадцать

Выпивка, говорит Роза. Нужна выпивка. Запиши. Я составляю список. Хлеб, масло, ветчина, помидоры, собачий корм.

И тортик.

Тортик? — переспрашиваю я. Такого пункта я не ожидала.

Я люблю торты, говорит она. И вообще, разве где написано: на поминках — ни тортинки?

Она меня дразнит. Наклоняется, забирает у меня ручку, подчеркивает дважды.

Наверное, у меня эта привычка от мамы, говорю я. Она все время составляла списки.

До последнего? — ядовито усмехается Роза. Вряд ли это генетическое. Чай. Для тех, кто не пьет виски. Внеси в список.

Так мы кружим вокруг да около уже с полчаса. Стоит мне упомянуть о прошлом, и я чувствую Розино непрошибаемое сопротивление. Утром, когда я встала, она уже сидела за столом, ела шоколадные конфеты, подбирала пальцем крошки, оставшиеся в пластиковых ванночках. У нее было странное выражение лица — то ли ликующее, то ли презрительное. Я тут же насторожилась: трид-

цать с лишним лет хоть и прошло, но доверять ей не стоит.

Я тут поболтала со старушкой Рили, сказала Роза. Ей, видите ли, не нравится, когда собака бегает по ее грядкам. Хотя, казалось бы, от него — сплошные удобрения.

Она громко рассмеялась и протянула мне коробку.

Тебе с пралине или с халвой?

Я хотела поговорить о похоронах. Если социальные службы пытались нас отыскать, значит, мог появиться и кто-то еще, кроме меня. Кого ждать, я понятия не имела. Но Роза-то здесь живет. Наверное, у нее есть на этот счет какие-то соображения. Но Роза уходила от всех моих вопросов.

Там буду я, сказала она, сияя. И миссис Рили. Старушенция в предвкушении. И Селеста — образец благопристойности. Она уж не упустит случая купить новую шляпку.

А остальные? — спрашиваю я. Люка, Фрэн?

Роза, как и прошлым вечером, только опускает голову. Ответа нет. Тогда я это простила. Но утром, когда я проснулась в своей старой комнате, в кровати, продавленной посредине, и сквозь занавески пробирался рассвет, что-то прояснилось. Это рефлекс: я искала Фрэн.

Роза пододвигает к себе листок, держит его — возрастная дальнозоркость — на вытянутой руке.

Красивый почерк, говорит она с удивлением, словно больная рука как-то влияет на то, как действует здоровая.

А с чего ему быть некрасивым?

Папа называл тебя Кособокой.

Говоря это, она скрючивается влево, руку приподнимает, растопыривает клешней. Фигура получается премерзкая — злодей из немого кино, — она изображает меня пятилетнюю. Но это длится всего мгновение. После чего Роза склоняется над списком, проглядывает каждое слово, раскрашивает буквы. От смущения шею заливает румянец.

Как ты думаешь, мы его увидим? — спрашиваю я, стараясь не проявить волнения.

Роза отвечает спокойно. Лучше бы заорала.

Думаешь, он объявится, да? Потому что она умерла? Потому что *ты* наконец решила, что пора приехать домой? Я прожила здесь всю жизнь, Дол. Если бы папа хотел вернуться, он давно бы это сделал.

Я же вернулась, говорю я.

Это да, говорит она. Когда пробил час. А соб-

ственно, зачем?

Она наконец поднимает голову. Я вспоминаю миссис Рили. *Здесь ценного ничего нет.* Этот вопрос я сама себе задавала всю неделю. Я столько всего хотела. Собирая сумку, трясясь в поезде, лежа в кровати и слушая Розин храп, я думала, что найду кого-то, кому смогу это сказать.

Я хочу поднять мамину голову с рельсов. Мне тогда было всего пять, я не сумела бы этого сделать. Я хочу остановить ее в тот миг, когда она разворачивается и уходит от меня в туманную дымку. В голове тревожный стук, темнота, пронзительный плач. Я ищу освобождения.

С Розой я этим поделиться не могла. Она четко дала понять: ее прошлое — не мое, я не могу быть его частью. В этих раскосых глазах читаются все Розины симпатии и антипатии: она всегда презирала Селесту и маму, восхищалась Люкой. Марина, отец, Фрэн — о них она и думать забыла. А я — я все та же Уродина. Такой даже список составить нельзя доверить: левша без левой руки.

Я беру со столика чашку, мою ее в раковине. Вода в кране пахнет бассейном. Из кухонного окна я вижу два бледных георгина, перегибающихся через забор миссис Рили. В дальнем конце сада, в некошеной траве клетка для кроликов,

заросшая плющом и мхом. От воды кислый привкус во рту.

Что он там задумал? — говорит Роза. Она решила, что я смотрю на пса. А я гну своё.

У мамы были друзья, говорю я.

Роза не отвечает. Рисует на бумажке узоры.

А с Евой что?

Слишком долго тебя не было, говорит она раздраженно. Я тебе сказала, кто будет. И никого больше.

Из-за облаков выглядывает солнце, заливает кухню светом. Роза любуется своей работой. Список теперь прочитать невозможно — он весь испещрен загогулинами. Я думаю о распятии и размытой надписи: «ФРЭН». Я думаю о татуировках.

Мне хочется найти Фрэн.

Не получится, говорит она. Нельзя найти то, чего нет, Дол! Если тебе это так уж интересно, сходи к Еве — убедись сама, хочет она прийти или нет.

Роза устало вздыхает, сгибает бумажку, отрывает от нее кусок. Пишет адрес.

* * *

Элджин-корт в той же стороне, что и больница Уитчерч. Между ними каштановая рощица, и

листва отбрасывает кружевную тень. Мы с Лиззи Прис ходили этой дорогой навещать маму. Тогда на земле валялись расколотые зеленые коробочки. Она сказала, что на обратном пути мы наберем каштанов, но не получилось — потому что мама вывела меня через дырку в заборе к железной дороге, а потом нас искали и нашли, лил дождь, мама махала мне на прощание, а другой рукой зажимала себе рот. В моих воспоминаниях она прижимает раковину к уху, пытаясь поймать Шум моря, кормит меня ягодами, у которых нет вкуса. Мы так долго шли. А потом сели на пожухлую траву у насыпи и смотрели на пути. Мама вынула что-то из кармана.

Посмотри, что у меня есть, Дол.

Разноцветная присыпка для тортов. На пакетике был нарисован клоун. Я облизала палец и окунула его в радужную россыпь.

Еще хватит на бисквит, сказала она, аккуратно свернула пакетик и убрала в карман. Пойдем домой и испечем?

Я думала, она говорит про наш дом.

А потом я много часов сидела с Лиззи Прис, ждала, когда приедут мои новые мама и папа. И нащупывала языком застрявшие в зубах сахарные палочки. Они скрипели, как гравий.

Маме в этом году исполнилось бы семьдесят два; Еве приблизительно столько же. Молодая еще для дома престарелых.

Все женщины в коричневых чулках и цветастых платьях. Все мужчины спят. Комната большая, с низким потолком, с окнами на две стороны, кресла расставлены полукругом. Похоже на холл гостиницы, только в углу телевизор: звука нет, по экрану бегает солнечный луч. Крохотная старушка вглядывается во взятые крупным планом лица людей. Остальные сидят в креслах и по очереди вздыхают — каждый о своем. Я жду и рассматриваю здешних обитателей. Евиного пергидрольного пучка с желтой от никотина прядью нигде не видно: у этих женщин волосы выкрашены в блеклые цвета, аккуратный перманент. На одной шляпка с вызывающе рыжим мехом, которую она постоянно поправляет. Если кто из них и Ева, говорю я себе, то наверняка эта. У меня закрадывается подозрение, что этот адрес — очередная Розина шуточка, но тут за моей спиной стучат каблучки, раздается высокий напевный голос:

Бог ты мой! Долорес! Как я рада тебя видеть!

Вот это точно Ева. Ее раскрас ослепителен: пронзительная голубизна теней, размазанных по

векам, двумя оранжевыми прямыми подкрашен рот, желтые лошадиные зубы. Вокруг головы ореол седых волос. На ней кислотно-желтый костюм и куча бижутерии — на шее болтаются цепочки и кулоны, на запястье позвякивают браслеты.

Мы попьем чаю в зимнем саду, миссис Пауэлл, говорит она медсестре. Когда у вас найдется время.

Ева поднимает глаза к небу. Ох, работнички, говорит ее взгляд. Она летит вперед, разводит рукой, демонстрируя свои владения. Длинный коридор с бесконечными дверями, одна приоткрыта — видна узкая кровать с ситцевыми занавесками и таким же покрывалом, на стене зеркало. И прямиком в зимний сад. Он появился недавно, пальмы и виноград молодые и зеленые, но листвы пока что маловато. Сквозь стеклянные панели лупит яркий свет. Ощущение — будто ты в клетке; пахнет горячим деревом.

Ева цокает по каменным плитам, усаживается, закинув ногу на ногу, в шезлонг. Тоненькая золотая цепочка впивается ей в лодыжку. Здесь царство цвета: Ева, пестрый шезлонг, плющ за ее головой, мореное дерево, освещенное солнцем — словно в пику приглушенным тонам гостиной. Жарко, но Ева этого не замечает; она придвигает-

ся ко мне, накрывает мою руку ладонью. В лице, голосе, улыбке нет ничего от той Евы, которую я помню; мне хочется шубы из оцелота с торчащей из кармана бутылкой рома. Мне хочется браслета с брелками — башмачком, феей и сердечком. Меня словно обманули.

Извини, дорогая, много времени я тебе уделить не могу. Здесь столько дел — невпроворот. Несчастные создания. Ну, как ты?

Я рассказываю, а она сосредоточенно моргает, в голубых глазах — нежность и забота. Она наклоняется ближе: лицо ее совсем рядом, наверное, она хочет, чтобы я ее поцеловала, думаю я. Я слышу запах ее пудры, а под ним — еще один. Острый, непонятный. Я рассказываю ей о маме. Она энергично кивает. И клонится еще ближе, словно хочет вдохнуть мое дыхание. Она так близко, что я вижу морщины на ее лице, капельки пота на лбу, и волосы растут чуть ниже.

Ужас какой, говорит она. Самоубийство. Только этого не хватало.

Духовка, рельсы. Я тоже этого боялась, поэтому ее вывод меня не удивляет. Но было все не так.

Она умерла во сне, говорю я, повторяя то, что сказали мне.

Не бывает такого, жарко шепчет Ева. Просто

людям нравится так думать. Ты уж мне поверь. Они всегда знают, когда приходит их время.

Кругом раскаленное стекло, зеленые и желтые разводы, ее рука на моей. Становится душно. Приходит медсестра с подносом.

Я принесла печенья, говорит она, подмигивая мне.

Замечательно, отвечает Ева.

Она отпускает мою руку и разливает чай.

Вы придете на похороны? — спрашиваю я.

Разумеется, говорит она. Как я могу пропустить такое событие?

Ева берет с тарелочки печенье. Оно с прослойкой крема; края обкрошились, шоколадные зигзаги облупились — словно их уже кто-то трогал.

В твоем возрасте это свадьбы, говорит она, разламывая печенье надвое. А в моем — похороны.

Она прижимает половинку печенья к губам, слизывает крем. К губам прилипает кусочек глазури.

Вот и мамы твоей нет. Скоро нас вообще не останется.

Я спрашиваю, кто еще жив. Она сосредоточенно супит брови, моргает.

Загляни в «Лунный свет», он все еще работает,

говорит она и добавляет с кокетливой улыбкой: Может, кое-кого там и найдешь. Старого знакомого.

Ева подносит чашку к губам, делает глоток, лицо у нее вытягивается. Она ставит чашку на блюдце.

Без сахара! — говорит она. Вот сволочь!

Я думала, может, из родственников кто, говорю я. Я ищу Фрэн.

Ева оборачивается и кричит в коридор:

Миссис Пауэлл, вы сахар забыли! Извини, дорогая, говорит она, принимая прежнюю позу. В складках ее лба собирается пот. Она чешет оранжевым ногтем под волосами. Копна волос съезжает чуточку влево.

Фрэнк? — переспрашивает она. Вот уж он-то точно не появится. Особенно после того, как нашли Сальваторе.

Она берет второе печенье. Подносит ко рту. Слизывает крем. Слизывает весь воздух.

Ты, наверное, его и не помнишь. Бедняга Сал! Подумать только, пролежал столько времени, погребенный в грязи.

Но я помню Сальваторе. Как он стряпал, как пел, как приносил тайком свертки с мясом. А потом исчез — как и отец. Упоминание любого из

этих имен повергало весь дом в тоску.

А знаешь, она ждала. Тридцать с лишним лет.

Карлотта перебирала пальцами бусинки четок, а Сальваторе лежал скрюченной рыбьей костью в глине.

Отцу твоему с рук-то сошло.

Фрэнки уплыл на корабле в солнечные края.

Они считают, что это убийство.

Евин язык алым кончиком высовывается изо рта. Запах раскаленного утюга, запах жары.

Никого наших не осталось. Ни одного человека.

Сахара нет, кричит она. Нету сахара!

Здесь невыносимая жара. Выпустите меня.

Миссис Пауэлл ведет Еву назад, и та виснет на ней. Они сворачивают в узкий коридорчик, где я жду, жадно глотая прохладный воздух.

Миссис Амиль прилегла, говорит, вернувшись, медсестра. Она немного устала.

Она протягивает мне сумочку, расшитую блестками и речным жемчугом.

Она просила передать вам это.

Шестнадцать

Люка летит по утреннему небу и спит. Свет из иллюминатора ее не беспокоит; она в маске из геля, которая должна предохранять нежную кожу вокруг глаз. Стюардессы тихонько улыбаются, глядя на нее: в пестром зеленом платке и с голубыми разводами вместо глаз она похожа на какое-то потустороннее создание. Перезвон бутылок и стаканов на тележке едва ее не будит. Она поправляет маску, и солнце просачивается из-под краев, добирается до лишенных ресниц век, расщепляет свет в чешуйки ржавчины.

Кровать Фрэн пустует уже три дня, а простыня с пятнами крови так и лежит, сложенная, на полу. Долорес свернулась котенком в провале матраца, там, где обычно лежит мама и где Люка, принюхавшись к смятой простыни, все еще чувствует ее запах. Люка пытается пристроиться рядом с сестрой, но та слишком горячая — тело у нее влажное от жаркого сна. Она напрягает слух — не слышно ли маму, которая лежит под лекарствами в Клетушке. Карлотта ушла домой раньше обычного — после бурного разговора с

отцом, который потом от злости впивался зубами в костяшки пальцев. Снизу доносится приглушенный звук телевизора, по кухне бродит отец.

Потом становится слишком темно — гаснет уличный фонарь, поэтому, может, она и просыпается, а может, оттого, что в комнате еще кто-то есть. Люка не боится. Рука, скользнувшая под одеяло, прохладная и знакомая. Она касается ее ступни, гладит, легонько приподнимает, и вот уже ступню поддерживают две руки. Одна тянется к лодыжке, а вторая ласкает пальцы, раздвигает их — словно пересчитывает. Потом берет мизинчик и внезапно дергает его, короткий хруст косточки тонет в вопле, рвущемся из Люки. Затем так же быстро рука дергает следующий палец, и еще один, а Люка корчится от боли и толкает свободной ногой сестру. Долорес стонет и откатывается на край кровати. Руки от быстрых движений стали влажными. Они ощущают пульсирующий под детской кожей ужас. А затем раздается тихий смех, успокаивающий, даже приятный, словно эта боль — дар, принесенный под покровом ночи любимой дочери. Следует поцелуй в изгиб ступни, где кожа самая нежная, Люке поправляют одеяло и уходят.

Люкины глаза под голубым силиконом широко

распахнуты и не моргают. Сны теснят друг друга. Она сосредотачивается на звуках вовне: тележка, позвякивая, катится обратно, над головой щелкает дверца отделения для ручной клади, пронзительно воет двигатель — самолет идет на снижение. Это то, что она слышит.

Просьба пристегнуть ремни. Мы прибываем в аэропорт Кардиффа.

* * *

Новый мост на безопасном расстоянии; отсюда порт выглядит как снимок из туристического буклета: на молу, на башне поблескивает ярче солнца циферблат часов, в бухте белеют яхты, сухой док заполнен синей водой. Симпатичный такой, безобидный. Но я туда не пойду. За просторной площадкой и вычищенным пескодувкой камнем — другое место, где крошится кирпич, рушится небо, падают люди.

Я щелкаю замком Евиной сумочки, из нее подымается облако сырости. Внутри два смятых автобусных билета и заплесневевшая фотография. На ней свадьба: женщина — мужчина, женщина — мужчина, женщина — мужчина, и я сначала не понимаю, кто есть кто. У девушки волосы украшены цветами — это Селеста-невеста.

По бокам от нее двое мужчин одного возраста и роста: один толстый, лысеющий, второй — наш отец. Он щурится на солнце. Может, улыбается. Может, думает о Селестином счастье: вышла за Пиппо, попала в хорошие руки. Вглядываясь в его зажмуренные глаза, я ищу доказательств замысленного им побега. Чуть ли не вижу, как лихорадочно бьется его сердце. Женщина справа от него — мама: в костюме с серебряными нитями она выглядит немногим старше дочери. Легкий ветерок взбивает ее челку. И она задирает голову, отчего вид у нее отчужденный, еще чуть-чуть — и взмоет в небеса. А за ее спиной Сальваторе, лицо его в самом углу, как солнечный блик на объективе. Он улыбается. Он еще ничего не знает; он и не предполагает, чем закончится день.

Евина сумочка стоит на краю моста. Так же мама поставила свою белую сумочку на камень над рекой; перед тем как отец нырнул в машину Джо Медоры; перед тем как пришла Ева и нашла меня под деревом. И мои воспоминания, им нельзя доверять, но они — все, что у меня есть, они липнут ко мне комьями грязи. В памяти всплывает Ева, чешущая ногтем лоб, пылающие цвета, зимний сад, одуряющая жара, раскалившая стекла. Ее круглые глаза сияют, как новенькие шиллинги.

Пролежал погребенный в грязи. Представляешь?

Представляю. Тогда все было совсем по-другому. Тогда док был действительно *сухим*. И стены были видны — бесконечная череда кирпичей, проносившаяся мимо Сальваторе, когда он падал. Я перегибаюсь через перила моста, и на меня несется с ревом разноцветная волна.

Он смотрит на луну. Следит взглядом, как она перемещается по небу. Сальваторе закрывает глаза, как ему кажется, всего лишь на минуту, но когда открывает их снова, луна уже ускользнула. Теперь он видит ее лишь краешком глаза. Он глядит на канаты ремонтной люльки. Он бы мог вылезти по ним, да только не может пошевелиться. Даже голову не может повернуть. Сначала ветер, потом тучи по небу, дождь, заливающий лицо и одежду, холодящий кожу между задравшейся брючиной и носком. Сальваторе слышит вдалеке крики. Греческие матросы, пьяные, шатаясь, пробираются по мостику, а за ними — шиканье, болтовня, хихиканье проституток, которых они хотят тайком протащить на корабль. Еще один вскрик — страха и веселья: одна из женщин оступается в тридцати футах над тем

местом, где лежит Сальваторе. Он раскрывает губы, хочет ее окликнуть. Рита, шепчет он, Рита, София, Джина. И — еще тише — Фрэнки, Фрэнки.

Фрэнки сидит на нижней койке в крошечной каюте и аккуратно опорожняет карманы: из переднего правого достает рулон банкнот, из левого — сигареты, шарит по атласной подкладке пиджака, лезет во внутренний карман, где лежат новые документы. Он закуривает сигарету, сует ее в рот, и на ней вырастет столбик пепла, пока он сворачивает, разворачивает, складывает, раскрывает бумаги, на которых гордо сияет черным его подпись. Он выпускает на них дым. Облизывает края и трет указательным и большим пальцами бумагу, чтобы она выглядела не такой уж новой. Думает о другой жизни. Старается не думать о Сальваторе.

…Женщина останавливается, преувеличенно серьезно подносит палец к губам.

Что такое? — спрашивает ее приятель.

Я чего-то услыхала, говорит она. Ее приятель протягивает руку и уводит от дока, от тихого шепота, который похож на шорох зверька в темноте.

Фрэнки, *хабиб*.

Фрэнки лежит, скрестив за головой руки, глядит на изгиб проволоки в футе над его лицом. Похожа на фигурку толстяка. Он вспоминает, как только приехал в Тигровую бухту, вспоминает комнату в подвале с кроватью в углу, как он стукался головой, пока не научился, вставая с кровати, пригибаться. Кольцо с рубином, соскользнувшее с руки и прикатившееся к Джо Медоре.

Так ты мой милый или нет? Эй, Фрэнки!

И усаживает женщину Фрэнки на колени — будто в подарок.

Уже нет, говорит сам себе Фрэнки. Уже не твой.

Он крутит на пальце кольцо. Там, где золотой ободок впивается в палец, скоро появится мозоль. Фрэнки чувствует, как по телу разливается тепло. Это освобождение, думает он, пробуждение. Он отдается этому; Фрэнки может теперь стать кем угодно.

Одна нога согнута в колене. Сальваторе думает, что, должно быть, лежит на остром, нечто твердое впивается в лопатку; правой руки он не чувствует. Он чуточку поворачивается налево, и люлька идет вбок. На небе сверкают звезды.

Когда Сальваторе наконец падает в мягкую грязь на дне дока, он уже без сознания. Утром вода сочится сквозь запорные ворота — забива-

ет его одежду грязью, камушками, обрывками проволоки, банка из-под краски мягко стукается о щеку, и вот уже весь док заполонило море. Корабль, аккуратно прокладывающий путь поверх ила, погребает Сальваторе навсегда. Вода вокруг — радужная пленка бензиново-синего и алого.

Отец знал, что сделал. Он уплыл на рассвете, а Сальваторе бросил. Бросил маму и всех нас. У мужчины может быть сотня мотивов или вообще никакой причины для того, чтобы просто выйти из жизни, которую он создал. Отец подбрасывал монетку и глядел, как его судьба, крутясь в воздухе, падает на землю. В моей голове восстанавливается последовательность, она накатывает волнами на мозг, но пока что по порядку ничего не выстраивается. Не хватает деталей, не хватает людей. Роза права насчет отца: он не вернется. Но есть другие. Ева сказала, «Лунный свет» все еще существует. Если кто остался, я их найду.

* * *

Джамбо сидит за обеденным столом, прижав к груди телефонную трубку. Он замечает посреди стола вазу с матерчатыми цветами, каждый лепесток в букете покрыт слоем жирной пыли.

Наверху, на лестничной площадке, Селеста, забыв, чем занималась, стоит, прислонившись к дверце сушильного шкафа. Внутри тепло и темно. Она думает, каково было бы полежать здесь, свернуться калачиком под трубой, закрыть дверцу. Она не была на Ходжес-роу с рождения Джамбо. А теперь, возможно, ей придется вернуться туда. До нее доносится раздраженный голос сына. Селеста спускается вниз.

Что еще? — говорит она.

Да Луис опять что-то напортачил. Ты же знаешь, какой он.

Селеста стоит, скрестив руки на груди.

Ну и?

Он запутался с меню, а еще реклама…

Положи, кивает Селеста на трубку. Как с Пиппо разговаривает.

Оставь это мне, мама, говорит сын, понимая по ее поджатым губам, что она этого делать не намерена, — я сам с ним поговорю.

Селеста лезет под стол. Достает одну туфлю, другую, сует в них ноги.

Мы с ним вместе поговорим. Пошли.

Ну вот, пожалуйста, думает Джамбо. Удружил, братец.

Семнадцать

Нет, тут что-то не так. Проспект новый и широкий, вдоль тротуаров деревья, всюду уличные кафе. «Лунного света» здесь быть не может: он должен быть в переулке — узкие двери, окна с разбитыми стеклами, мостовая в трещинах, серая, как небо Уэльса. Это не то место. И вдруг я вижу их троих. Они кажутся такими знакомыми, что я уже не понимаю, какой теперь год, мне будто снова пять лет, и все вот-вот начнется заново — хуже, чем прежде. Селеста выглядит как постаревшая мама — та, которую помню я, она даже стоит так же — одну ногу чуть вывернула в сторону, а другой быстро-быстро стучит по тротуару, словно в голове ее бьется ритм, которого никто другой не слышит. Она мрачно разглядывает зеркало витрины. Мужчина рядом с ней вполне мог бы быть Пиппо; а второй, помоложе, прислонился к дверце машины и размахивает в воздухе сигаретой. Он копия нашего отца. Селеста узнает меня в ту же секунду: словно ждала моего появления. Она выбрасывает руки вперед. Объятие столь быстро, что я едва чувствую ее прикосновение.

Это мои сыновья, говорит она. И — Джамбо с

Луисом: Это ваша тетя Долорес.

* * *

Люка с трудом заставляет себя постучать в дверь. Она заглядывает в просвет между шторами, видит кровать под окном, телевизор на старом пластиковом столике. На улице ни души. Люка глядит на окна дома Джексонов и соседнего: они заложены листами старого железа. Она катит свой чемодан по улице, встречает женщину, ее тащит за собой собака, которая как будто улыбается. Они едва не сталкиваются, Роза и Люка. Но на Люке темные очки и платок. Роза замечает женщину — она здесь явно не на месте, похожа на фотомодель, — однако не узнает ее. Люка сторонится толстой женщины с тощей собакой. Ей хочется в гостиницу. Горячая ванна, а потом — спать. Она пойдет на похороны, а потом уедет домой. Здесь она только время впустую потратит.

Роза бухает пакет с продуктами на стол в кухне, вынимает банку собачьего корма. Находит в кладовке железную миску, потускневший серебряный поднос, а под полкой — мешки с мусором, набитые так же, как и те под лестницей. Она

кормит собаку и принимается за дело — вываливает содержимое первого мешка на пол в гостиной. Роза не ищет ничего определенного, но помнит украшения. Мама носила только блеклое обручальное кольцо, волне возможно, что из «Вулворта», а вот у Фрэнки было золотое. Роза размышляет. Фрэнки наверняка его забрал, наверное, до сих пор носит. Она вспоминает низенькую стеклянную вазу, которая стояла у него на туалетном столике; запонки, булавка для галстука, кольцо с рубином, тонкая игла серьги в грязно-желтых крошках. Иногда там оказывались часы, или идентификационный браслет, или длинная толстая цепь со свисающим совереном. Как и кольцо, вещи эти то появлялись, то исчезали.

В первом мешке пеленки и распашонки, детская одежда, мужские костюмы — слипшиеся в ком, в зеленой плесени, которая, стоит Розе за что-то потянуть, рассыпается в пыль. Пес носится вокруг, засовывает морду то в один мешок, то в другой. Он тащит что-то зубами, задние лапы согнуты, когти скребут по линолеуму. Галстуки, пояса, подтяжки с кожаными петлями, сплетенные в клубок, разлетаются во все стороны. Из мешка выскальзывает ремень,

свистит в воздухе, и этот звук пугает обоих. Роза, присев на корточки, разглядывает его. Черная кожа совсем износилась. На пряжке вырезано восходящее солнце — и диск, и лучи позеленели от плесени. Этот ремень ни с чем не спутаешь. Роза накручивает его на руку. Движение почти инстинктивное. Она никогда не била пса, но теперь он пугается; потрескавшаяся кожа источает воспоминания. Он ползет на животе под кровать. Роза кожей чувствует тишину комнаты, разлитое кругом прошлое.

Ей снова двенадцать; она сидит в задней спальне у окна. Вдалеке полыхает пламя, но Фрэн к этому непричастна. Фрэн лежит в своей комнате, ждет завтрашнего дня, когда придет Лиззи Прис и отвезет ее в приют. Прошла неделя с тех пор, как сгорела лавка Эвансов, с тех пор, как отец избил ее на кухне. Роза тогда не знала, что это только разминка. Весь день в доме толпились люди: Лиззи Прис со своими бумажками, потом Артур Джексон, который привел маму и усадил на стул. Ноги у нее были в грязи. Розу послали искать отца. Она его так и не нашла. Оставила сообщения в «Лунном свете», в букмекерской конторе, в «Бьюте». Домой он не явился. А теперь сидит здесь, уставившись на дверь, с ремнем на

коленях. Он запер маму в Клетушке. Никому не разрешено туда заходить. В доме тишина.

Это несправедливо, Сел, шепчет Роза. Несправедливо!

Селеста соскальзывает с кровати и садится на корточки. Она перебирает россыпь пластинок на полу, находит ту, которую хочет поставить.

Да ты-то что понимаешь, говорит она, сдувая с пластинки пыль. Ты еще ребенок.

Я знаю, что это *несправедливо*, упорствует Роза. Она не хочет спорить, а хочет, чтобы Селеста сделала хоть что-нибудь. Селеста натягивает рукав на большой палец, аккуратно проводит им по винилу.

Они это заслужили. Сплошной позор, а не семейка!

Она ставит иголку, та шуршит по пластинке. Сумрак заполняет «Прогулка по набережной».

Вставай, Роза! — говорит Селеста. Я покажу тебе, как это танцуют.

Ее розовые пальчики отбивают такт.

Раз, два, три, и-и… Она останавливается. — Ну, Роза, давай! — говорит она, щелкая у нее перед носом пальцами. С этим все равно ничего не поделаешь! И она снова отбивает ритм.

Пам-па-ра, поворот бедра.

«Стопни» правою рукой,
Шаг-поворот.
А теперь и левой,
Шаг-поворот.
Шаг назад. И — шаг назад.
Плавно вбок — и поворот.

У Розы нет никакой охоты танцевать. Она мысленно прокручивает все заново.

В столовой темно. Даже телевизор выключен. Что-то не так. Роза боится, что задержалась. Отца она так и не нашла, но, выйдя во двор, слышит его крик. Сначала она видит Фрэн на лужайке. Она закрывает лицо руками.

Руки опусти! — орет он. Он стоит к Розе спиной. Рукава засучены, на кулак намотан ремень. Фрэн опускает руки по швам и Стоит не шелохнувшись. Как рядовой. Она не узнает Розу; между ними всего несколько футов, но в глазах Фрэн светится один только ужас. В свете, льющемся из окна кухни, Роза видит розовые полосы на коже у сестры. На шее, на руках, на ногах. Фрэнки делает глубокий вдох, встает поудобнее, выдыхает. И с выдохом рвется наружу звук свистящей по воздуху кожи. Из распахнутого рта Фрэн летит безумный крик. Ему вторит тихий, как эхо, крик

вдалеке. Фрэнки снова поправляет ремень на кулаке.

Ты как мать, говорит он.

Тишина. Фрэн пошатывается — вот-вот рухнет.

Лгунья. Как мать.

Метит в голову. Острая клешня пряжки впивается в лицо, оставляет тонкую царапину за ухом. Она испускает звериный вопль. Фрэнки подхватывает ее на руки. Тело сгибается пополам. Будто сломалась, думает Роза. Он швыряет ее на землю. Его пальцы сжимают шею Фрэн.

Крик.

Но это не Роза, которая зажала рот ладонью. Крик останавливает Фрэнки. Он переползает через тело дочери, чтобы скрыться в тени стены. Фрэн бредет прочь. Через несколько мгновений он следует за ней, втянув голову в плечи — словно боится, что небо рухнет и придавит его. Розе он напоминает шимпанзе в цирке.

В кухне Фрэнки моет пряжку под краном. Головы он не подымает, но чувствует, что Роза стоит в дверях. Он проводит пальцем по латунному язычку.

Приведи мне Долорес, говорит он.

Но она этого не сделает. Ее она ему не отдаст.

Фрэн наверху, но она не плачет. Стоит, при-

слонившись головой к зеркалу на туалетном столике. К уху прижимает носок.

Что ты сделала? — спрашивает Роза.

Ничего.

Он называл тебя лгуньей, говорит Роза.

Фрэн разглядывает носок, ищет чистое место. Носок в пятнах крови.

Ничего я не сделала.

Пойдем скажем маме, говорит Роза.

Смех у Фрэн пронзительный.

Ха! — говорит она. Это все из-за *нее*.

Ухо у нее багровое, на мочке, там, где царапнул язычок, начинает синеть.

Ой… Больно смертельно.

Она мочит кончик носка слюной и снова прикладывает к ране, спускает волосы налицо, чтобы закрыть оба уха. Роза глядит на взбухающие на руках Фрэн рубцы.

Я скажу Селесте, говорит она.

Но Селеста в задней спальне разучивает па и не желает ни о чем слышать.

Врач придет. Давай ему расскажем, предлагает Роза. Селеста замирает в движении.

Ты только попробуй! — говорит она. Он тогда нас всех убьет. Скажи, Фрэн, ты ей скажи, чтоб она — никому ни слова.

Селеста может все изменить. Она старшая, она знает, что делать.

Но Селеста желает только танцевать.

У Розы затекла нога. Она высвобождает ее, пытается ей пошевелить, но боль слишком резкая. Она ждет, когда перестанет покалывать.

* * *

В «Лунном свете» прохладно, зал просторный — светлое дерево и хром. Мы сидим у окна, куда Джамбо приносит на полированном подносе кофе — всего две чашки, поэтому Луис бросает на него недоуменный взгляд, он понимает намек, поднимается и идет за братом в недра ресторана. Селеста сидит на краешке стула, чуточку от меня отвернувшись. Она осматривается. Моего взгляда избегает.

Я-то шла в старый «Лунный свет», говорю я. Это для меня полная неожиданность. Я и не предполагала…

Название изменят, говорит она равнодушно. Это была не моя идея.

А что, старый «Лунный свет» еще существует? Я сегодня утром ходила навестить Еву. Ты помнишь миссис Амиль?

И я достаю из портфеля сумочку.

Меня это не интересует, говорит она, отодвигаясь подальше.

Это фотография твоей свадьбы. Мама с папой. Сальваторе.

Ну и что? Убери.

Селеста отпускает ложку, кладет правую руку на стол, рядом с моей левой. Осторожно, чтобы они не соприкоснулись. Вот две взрослые руки — моя и ее. Я поворачиваю свою ладонью вверх, демонстрирую обтянутую кожей кость — там должен был быть большой палец, полумесяц белой плоти и багровый рубец, на котором кожа не прижилась. Я подавляю желание спрятать руку в коленях. Она должна теперь на меня посмотреть.

Ты спокойно к этому относишься? — спрашивает она. Тебе не мешает?

Я переворачиваю руку: значит, ей мешает. Я могла бы рассказать Селесте, как пошла в школу и как другие дети отказывались со мной сидеть, чтобы «не заразиться», или как моя приемная мать уговаривала меня носить протез, который натирал мне запястье. Но я рассказываю о другом: о том, как встретила миссис Рили, как Роза нашла меня в нашей старой спальне. И все это

время рассматриваю ее лицо. Селеста мне это позволяет, легонько кивает, вертит в пальцах салфетку. В тени лицо у нее гладкое и смуглое, но там, куда падают лучи дневного света, видны под слоем пудры крохотные морщинки.

Миссис Рили пришлось включить для меня газ, говорю я. Шкаф был забит мусором. Подумать только — я так любила это местечко под лестницей.

Селеста щурит глаза, вздыхает.

Ты не можешь помнить, говорит она. Ты была совсем маленькая.

Это не вопрос, но мне хочется спорить. Я отчаянно бормочу:

Я помню, как выучила названия всех книг Ветхого Завета, как научилась застегивать пуговицы. Ты мне показывала, как танцевать твист; помню, как Фрэн увезли. Карлотта и Сальваторе, Джо Медора…

Ты *не можешь* помнить Джо Медору, говорит она, и руки ее взлетают вверх — словно ей удалось меня поймать. Ты его никогда не видела, Дол. И — бога ради! — ты не можешь помнить Марину. Это тебе только *рассказывали*. И это не то же самое, что знать.

Я помню Джо Медору!

Селеста говорит медленно, как ребенку.

Ты его никогда не видела.

Откуда-то из глубин сознания всплывает картинка. Я вспоминаю мужчину, склонившегося над женщиной, он держит ее лицо в ладонях и усмехается мне. Зубы у него горят золотом. Но это гравюра из старой книжки, которая была у меня когда-то. Это никакое не воспоминание.

Селеста хватает салфетку и сердито вытирает уголок рта. Я догадываюсь, что этот жест означает конец беседы.

Я своих мальчиков оберегла от этого, говорит она, отодвигая стул. Перед вами ваша собственная жизнь, я им так говорю. Глядите только вперед.

Она смотрит на сыновей, которые пьют у стойки кофе. Они глядят на нас. Луис спешит к нашему столику.

Пойди помоги тете Долорес забрать вещи, говорит она, и, обернувшись ко мне: Полагаю, ты остановишься у нас.

Это не приглашение, это приказ. Она хочет, чтобы я бросила Розу в старом доме.

* * *

Луис так и рвался меня проводить. Он почти что бежал вприпрыжку—как резвый щенок, порой

вырывался вперед, не переставая разговаривать, возвращался. Желая что-то подчеркнуть, он раскидывал руки в стороны и глядел на меня во все глаза. Мне приходилось его придерживать — чтобы не мешал спешащим навстречу прохожим. Интонация у него чуть недоуменная; в каждом утверждении скрыт вопрос. Мы свернули с Бьютавеню на узкую улицу, упиравшуюся в проулок.

Нет, Луис…

У меня перехватило дыхание. Почему — я словами выразить не могла.

Но так быстрее! — сказал он. Со мной тебе бояться нечего.

В сточной канаве валялся мусор, пластмассовые чашки, скомканные пакетики из-под чипсов трепал ветер. Строители не тронули этой части города; не было тут ни респектабельных фонарей, ни урн с нарисованными на них герольдами. Так я и оказалась против своей воли здесь — совсем рядом с портом. Луис хотел рассказов о прошлом, но я после встречи с Селестой устала рассказывать. То прошлое, которое вроде как было общим, казалось болотом. Я сообщила ему одни лишь факты.

Пять девочек, потом шестая, а потом пожар, и я обгорела.

Тебя же спасли! — гордо заявил он.

Я обгорела, а потом… все пошло не так.

Твой отец, он сбежал. Я все об этом знаю.

Он описывал события, о которых ему только рассказывали, и руки его летали в воздухе. Это были замечательные истории — о роковом кольце, о кровавой вражде, о проданной дочери.

Это место — оно как отдельный мир, да? — сказал он, хлопнув ладошами — словно мотылька поймал. И мама не хотела, чтобы мы знали. Она отправила нас в частную школу. Но люди кругом, — он выпустил воображаемого мотылька на волю. Они нас знают. Разговоры все равно слышишь. Когда папа умер, она все рвалась уехать отсюда, но Джамбо говорит…

Когда умер ваш папа? — спросила я.

Скоро уже два года. Работал до последнего. И Джамбо с ним. Динамичная получилась парочка!

Луис остановился. В его словах была горечь, которая досказала мне все остальное: про то, как Селеста прожила здесь все эти годы, а сплетни никуда не исчезали, они лишь менялись с годами. Пожар — это адский пламень, сожженная рука — роман ужасов, а разборка между двумя старинными приятелями — убийство. Неудивительно,

что она не хотела говорить о прошлом. Мои воспоминания по сравнению с этим скучны и убоги. Но Луис — он как я, хочет во всем разобраться. И я за это уцепилась; я рассказала ему о том, о чем не могла бы рассказать сестрам: об отчужденности Селесты, о мелкой жестокости Розы и Люки, о доброте Фрэн. Как она лежала в темноте и протягивала мне руку. Как стояла в тусклом предутреннем свете, худенькая, ссутулившаяся, молча складывала мокрые простыни, и от нее веяло такой тоской… Рассказала я и про костры, про камешки-стекляшки, про татуировки.

Луис прищурился.

Фрэн, сказал он. Фрэн… Сколько бы ей сейчас было?

Мне не надо ничего высчитывать.

Сорок пять.

И ты не знаешь, где она? — спросил он.

Понятия не имею.

Я могу порасспрашивать. Я знаю кое-кого из старой гвардии.

И вдруг, словно вспомнив что-то, широко улыбнулся.

Тетя Дол, глянь-ка.

Он расстегнул рубашку. Показал татуировку на груди — дракона. Не понимаю, как это кто-то

добровольно хочет себя калечить, но Луису это нравилось.

У Фрэн было написано ее имя — вот здесь, сказала я, вытянув правую руку. А здесь — я показала левую — распятие.

Домашнего изготовления, да? — сказал он, беря меня за левое запястье. Смысл получился двойной, и мы засмеялись. Он не выпускал мою руку, и я ее не отнимала.

Ты придешь на похороны, Луис? — спросила я.

Он посмотрел непонимающе. Значит, Селеста и этим ни с кем не поделилась.

На похороны нашей мамы — твоей бабушки. Завтра.

Как это? — сказал он. Как это?

Он наклонил голову — как голубь, высматривающий крошку. Он думал, он решал.

Приду, сказал он. Мы все придем.

И он взял меня под локоть.

Ну, вот почти и пришли, *тетушка*, сказал он и снова улыбнулся во весь рот. Не так уж и страшно, а?

Я разрешила ему довести меня только до угла. Он не хотел уходить, все оборачивался, а я махала ему рукой.

Точно дойдешь? — кричал он. Точно? Я ведь

могу пригодиться. Мало ли что.

Селеста не хотела бы пускать его в дом. И я не знала, как бы прореагировала Роза.

* * *

Она стоит на коленях посреди комнаты, кругом мешки, детские вещи, туфли, вешалки — две огромные кучи. Как на благотворительном базаре. Из-под кровати торчат серые лапы пса; он лежит там трупом. Роза поднимает на меня глаза — вид у нее виноватый, смущенный, словно я поймала ее на чем-то постыдном. От нее пахнет потом, на лбу грязные подтеки. И лицо как у маленькой девочки.

Я весь день это разбирала, говорит она, разглядывая свои руки. И протягивает мне ладони — кончики пальцев измазаны типографской краской.

В основном один хлам. Я это выставлю мусорщикам.

Я ходила к Еве, говорю я. А еще встретила Селесту с сыновьями.

Она психованная, бормочет Роза.

Про кого она — я не понимаю.

Ты знала, что отца разыскивали за убийство? — спрашиваю я. Теперь мы с ней равны. На этот раз

ей не отвертеться.

А как же, говорит она, сваливая часть кучи в мешок. Еще — за изнасилование, разбой и грабеж средь бела дня. Я ничего не упустила? Ты уж подскажи — она наклоняется ко мне, продолжает нарочито высоким голосом: — Я внесу в список.

Роза, я не шучу.

Нет. Ты у нас такая доверчивая. Все примешь за чистую монету.

Она снова садится на корточки. Солнце скрылось; лицо ее в полумраке отливает синевой.

Людей за что только не обвиняют. Чулок порвался? Гаучи виноваты! Ноготь сломался? Опять эти Гаучи! Он, Дол, много чего плохого сделал, говорит она, сгребая с пола ремни и вешалки. Бил нас до полусмерти, оставил без гроша, в конце концов просто слинял. И это, по моему глубокому убеждению, худшее из преступлений.

Она запихивает вещи в мешки, наваливается на них, чтобы утрамбовать.

Незачем ходить выяснять, что он такого натворил, Дол. Все это вот туточки.

Она завязывает на мешке узел.

А ты, Шерлок, этого до сих пор не понял?

И Роза рассказывает, как нашла его ремень. Больше она ничем делиться не готова. Я этого не

помню, но, когда ее слушаю, в животе у меня что-то переворачивается. Что-то мокрое и скользкое.

А вот это, я думаю, тебя заинтересует. Или тоже выбросить?

На линолеуме груда фотографий. Я наклоняюсь рассмотреть их: маленькая Селеста, бесконечные мужчины в костюмах, улыбающиеся женщины. Четыре ребенка сидят рядком на диване. Наши имена написаны ручкой — Роза, Люка, Фрэн, Дол — и стрелочки к каждой.

Наверное, чтобы она не забыла, говорит Роза.

Меня больше всего интересует Фрэн. Она сидит, обняв меня за плечи, а глаза получились смазанные — моргнула не вовремя. Тоненькая прядь волос в углу рта, а рот приоткрыт — она что-то говорит. Не помню что. Наверное, шутит. Чтобы я улыбнулась в камеру.

На полу рядом с Розой лежит открытая мамина сумка. Из ее недр вываливаются другие истории: пожелтевший газетный снимок, на котором двое мужчин; детские четки, потемневшие от времени; выщербленные игральные кости. Мне это ничего не говорит. Старые рецепты блюд, которых я никогда не пробовала. Рождественские открытки от людей, которых я не знала. Про Фрэн больше ничего.

Вот, говорит Роза, наклоняясь к груде снимков. Ты здесь хорошо вышла.

Сквозь трещины на фотографии проглядывает кремовая бумага. Края обтрепались — ее часто рассматривали. Две маленькие девочки. На старшей застегнутый на все пуговицы клеенчатый плащик с белой отделкой, воротник завернут, словно ее одевали второпях. Хоть фотография и черно-белая, сразу понятно, что волосы у нее рыжие — они реют вокруг головы огненными язычками. Через плечо у нее замшевая сумка, она вцепилась в замочек, сурово смотрит в объектив. Похожа на кондуктора в автобусе. *Не забудьте оплатить проезд!*

Малышка с ней рядом плачет, вскинув вверх кулачки. Я даже не сразу понимаю, что это я. Я внимательно изучаю снимок, подношу его так близко к глазам, что крохотная левая ручка расплывается в белое пятно. На обороте нервным маминым почерком написано:

> Люка, 2 года с Деллорес, Дорлорес, Долорес, 3 нед.

Мое имя дважды перечеркнуто и всякий раз написано по-другому, словно она еще не привыкла к новому ребенку.

Это я, говорю я Розе.

Ага, усмехается она. Целиком и полностью.

Фантомная боль возвращается. Я никогда раньше не видела своей руки.

Восемнадцать

В кино похороны обычно проходят на утопающем в зелени кладбище, под сенью старых деревьев. И обязательно идет дождь. Камера дает крупным планом листву или расплывчато ствол дерева, а затем отъезжает, чтобы показать фигуру в черном, стоящую поодаль от остальных скорбящих. Если это мужчина, то он медленно затягивается сигаретой, если женщина, то руки у нее прижаты к груди, а на вуали поблескивают капли дождя. Когда я бреду по грязной тропинке, которая выведет к маминой могиле, мне вдруг приходит в голову, что я никогда прежде не бывала на похоронах. Наверное, мне везло.

Мы идем следом за священником и несущими гроб. Глаза их устремлены на желтую сосну гроба. На каждом черный галстук. Обветренные лица и одинаковые перчатки — а то их можно было бы принять за горюющих близких.

Мамина могила на склоне холма, обращенного к ремонтным мастерским: сквозь дымку тумана я ухитряюсь разобрать имя Перуцци. Вдалеке — размытые силуэты жилого квартала. Машины едут по дороге, проходящей за кладбищем, не

сбавляя скорости — несмотря ни на близость смерти, ни на плохую видимость. В конце дороги резкий поворот с неожиданным светофором, и тишину время от времени прерывает резкий скрип тормозов. На другой стороне дороги — россыпь цветочных киосков. Названия разные, а цветы одинаковые. Мужчина в костюме тормозит у обочины и мчится на ту сторону, рискует жизнью, чтобы купить в последнюю минуту венок тому, кто уже мертв. Я его не знаю. Я осматриваю надгробья. У тех, за которыми ухаживают, стоят в вазах лилии, но по большей части цветы увядшие, засохшие. Я ищу таинственных незнакомцев, прячущихся в кустах, только никаких кустов здесь нет. Никто нежданный не появился.

У нас пестрая компания. Мы с Розой в разных оттенках темно-серого. Миссис Рили в истошно-синем пальто напоминает королеву-мать, к лацкану криво приколота тронутая ржавчиной брошка. Селеста рядом с двумя сыновьями смотрится крошечной. Она одета безукоризненно — в черное, разве что шляпа с вызывающе широкими полями. В тусклом свете дня поблескивает длинная цепочка ее сумочки. Джамбо постоянно проводит рукой по аккуратно прилизанным волосам. Его беспокоит туман; туч нет, а капли

все равно падают. Луис, увидев меня, отходит от матери, идет, подскакивая, по жухлой траве. Он доходит до вершины холма, закуривает, отбрасывает носком начищенного ботинка кусочки дерна.

Тетушка Дол! Ну, мы с вами попали!

Он стреляет глазами в Розу, снова смотрит на меня. И заговорщицки наклоняется к моему уху:

Мама вне себя. Вчера вечером вы должны были вернуться со мной. Ох и влетело же мне!

Луис, ты разве не сказал ей — я осталась дома, с Розой.

Я показываю на Розу. Понятно, что они друг друга знают, но не общаются. Роза небрежно почесывает подбородок, глядит в небо, а Луис рассматривает горящий кончик сигареты.

Ну, пошло-поехало, говорит он, щелчком отправляя окурок в траву.

Отец Томелти выдерживает паузу, глядит поверх наших голов, дожидаясь тишины. Рот у него остается открытым. Мы переминаемся с ноги на ногу, Джамбо нервно кашляет, а потом мы оборачиваемся в ту сторону, куда смотрит священник. Женщина в черном платке и темных очках. Она медленно поднимается по холму, словно притянутая его пристальным, неморгающим взглядом.

Она прижимает руку в перчатке к груди, другую, подойдя к могиле, протягивает мне.

Бог ты мой! Ну и горка! — говорит она театральным шепотом. Кто-то нежданный все-таки прибыл: может, она и хотела замаскироваться, но сомнений в том, что это Люка, нет.

Я не могу смотреть на гроб и не могу смотреть в яму. Я рассматриваю склоненные головы людей, делающих вид, что в эту минуту молчания они молятся за упокой души Мэри Бернадетт Гаучи, урожденной Джессоп. Селеста украдкой бросает взгляды на Люку, а Роза, стоящая напротив, ухмыляется ей. Священник строго смотрит на Розу, и она поспешно делает строгое лицо. Голос отца Томелти колеблется от шепота до крика. Я слышу за спиной, как кто-то с присвистом выпускает дым: служащие похоронного бюро стоят на расстоянии, которое сочли почтительным. Я, как они, ничего не чувствую. Я не понимаю, кто жив, кто мертв. Думаю о списке, лежащем в кармане дорожной сумки. По крайней мере, теперь я могу вычеркнуть из него Люку.

Она стоит рядом, пахнет «Шанелью» и жевательной резинкой. На мертвенно-бледном лице Люки губы кажутся пламенно-алыми. Внезапно она меня толкает, так быстро и незаметно, что

это может быть случайностью. Я искоса смотрю на нее; она шепчет уголком рта:

Воскресная школа… и вперивается взглядом в Розу.

* * *

Воскресная школа с отцом Стоуком, у которого одна нога была короче другой — в детстве болел полиомиелитом — и которого Роза, увидев его походку, тут же окрестила отцом Стуком. Сзади ряса была облеплена жеваными бумажками, вырванными из Библии; глаза за толстенными стеклами очком казались рыбьими; он давал нам молоко из маленьких бутылочек и бутерброды с мясным паштетом. Но перед едой мы должны были помолиться. Он ставил нас в два ряда — как мы сейчас стоим у маминой могилы, — и наши желудки нетерпеливо урчали, пока он обращался к Господу Всемогущему.

Отче наш…

Да? — раздавался вдруг тоненький голосок, словно идущий с потолка.

Он изумленно поднимал глаза. Это была любимая Розина шуточка. Он каждый раз попадался.

Люка снова пихает меня в бок, и я едва успеваю

заметить легкий кивок ее головы. Миссис Рили неумолимо клонит в сон. Веки сами закрываются, голова клонится набок, едва не падает Розе на плечо, но тут миссис Рили вздрагивает, встряхивается и глядит, распахнув глаза и судорожно моргая, на священника. У Розы руки сцеплены на животе, глаза закрыты, брови двумя благочестивыми арками рвутся к небу. Она напоминает мне братца Тука. Грудь ее вздымается под пальто, и мне даже кажется поначалу, что она рыдает; но она открывает глаза, подмигивает нам и снова погружается в благоговейный транс. Священник умолкает, и слышится тихий смешок. Он кидает горсть земли на гроб. Сзади раздается сдавленный вздох. Еще горсть. Отец Томелти размашисто крестится, и Люка делает то же самое, утирая походя перчаткой нос. Она склоняет голову, но смех рвется наружу, трясет ее взрывной волной, сливаясь с приглушенным пофыркиванием Розы, Луиса, моим. И вдруг мы все начинаем хохотать, смущенно и пронзительно — под холодным взглядом священника, под каплями тумана, падающими с неба.

Люка сбегает первой; едва стихает последнее «Аминь», и она уже мчится, пошатываясь на шпильках, по грязи, будто за ней гонится сам Са-

тана. А это всего лишь Роза, пальто ее надувается колоколом, и она, задыхаясь, пытается поспеть за сестрой.

Лю, погоди минутку! Меня подожди!

Она нагоняет Люку, и они берутся за руки. Их смех несется над покосившимися надгробиями, над заросшими сорняками могилами. Я чувствую себя обойденной. Совсем недолго, но Роза была со мной, а у могилы Люка протянула мне руку, и я решила, что и на нее имею какие-то права. Но теперь они опять друг с дружкой. Селеста семенит передо мной, она пытается умаслить священника; ей хочется отгородиться ото всех нас, даже от собственного сына Луиса. Он держится со мной рядом. Взгляд у него озорной.

А это кто? — спрашивает он.

Люка.

Ой, правда? Я про нее слышал.

Мы стоим на холме, смотрим на проносящиеся внизу машины. Они выглядят как игрушечные, идут двумя ровными рядами, замирают или газуют на светофоре. В воздухе разлита ровная, успокаивающая серость. Луис обозревает панораму.

Это, наверное, сильное потрясение — увидеть всех снова? — спрашивает он.

Я не в силах скрыть разочарование.

Это не все, говорю я. Я бы еще многих увидела.

Например, отца?

Нет. Например, Фрэн.

Можем попытаться, говорит он. Походить, поискать.

Он извиняется за нас обоих.

Мам, мы только заскочим в «Лунный…» …э-ээ… в ресторан. Возьмем джина.

Селеста усаживается на заднее сиденье рядом с Розой и Люкой, с нескрываемым отвращением подбирает полы пальто.

Мы домой, Дол! — кричит в окно Роза. Закусок прихватите, ладно?

Мы глядим им вслед. Миссис Рили улыбается и машет нам с переднего сиденья машины Джамбо. Ну, просто семейная поездка за город. Мы машем в ответ.

Ну, тетя Дол, говорит Луис. Ты готова?

* * *

Он поражен тем, что я не знаю, где мы. Для Луиса город менялся постепенно, годами прокладывались новые дороги, сносили старые районы, работали экскаваторы, в воздухе пахло горячим асфальтом. А для меня все новое и все одина-

ковое. Ряды одинаковых кирпичных домов, из распахнутых дверей которых выкатывают коляски, вывозят велосипеды, доносятся запахи еды. Жестяная улица, Цинковая, Серебряный переулок. Я думаю о драгоценных металлах — потому что мы сворачиваем на Платиновую площадь. Здесь Луис останавливается.

Гляди, показывает он в сторону живой изгороди из шиповника. Можем здесь срезать.

Металлическая дуга, перекинутая над железной дорогой. Это Дьяволов мост. Слева переплетение узеньких улочек, справа — доки, рельсы, скрещивающиеся и расходящиеся, как линии на руке. Прямо под нами вьется змейкой колея. Я никогда не была на мосту, только под ним. Со склада вдалеке доносится лязганье металла.

Мы здесь играли маленькими, говорю я. Луис улыбается мне.

Мы тоже! — говорит он. Здесь теперь живут бродяги. Разумеется, безо всякого разрешения.

Он ведет меня дальше, напрямик, к докам. Мы проходим ряды каких-то захудалых магазинчиков, и Луис показывает на противоположную сторону улицы — там бакалейная лавка, швейная мастерская, зал игровых автоматов — в ярко размалеванной витрине выставлены муляжи

призов. Луис выжидающе смотрит на меня.

Что? — спрашиваю я. Что такое?

Я слежу за его взглядом. Он никак не возьмет в толк, что у меня воспоминания пятилетней девочки. Мешанина названий улиц, чьих-то имен. Ничего конкретного. Он показывает на вывеску над дверью: «Тино — овощи и фрукты». Для меня это пустой звук, но что-то меня цепляет. Что-то едва ощутимое. Тусклый свет, запах темноты за дверью.

Я тебе покажу, говорит он, переходит улицу и распахивает дверь. Но я останавливаюсь, делаю вид, что рассматриваю апельсины в ящике. Они, как снегом, припорошены плесенью. У входа, среди коробок и ящиков с овощами разной степени гнилости сидит старик. Луис тихонько разговаривает с этим почти что призраком, а я мнусь на тротуаре и дрожу от холода. Ветер несет мелкие капли дождя. В витрине швейной мастерской стоит покосившийся манекен с пустыми глазами. Голова его уткнулась в раму окна, на щеке следы пальцев. В груди у меня начинается жжение.

Эй! — кричу я Луису. Пошли назад.

Он выглядывает из двери, бросает на меня насмешливый взгляд.

А я думал, ты хотела кое с кем повстречаться,

говорит он. И берет за плечо старика, сидящего на перевернутом ящике.

Вы помните Долорес Гаучи, мистер Тино?

Тот протягивает руку. Под ногтями земля, костяшки пальцев грязные, но рука все еще сильная, и ладонь такая же широкая и распахнутая, как в тот день, когда он достал из огня младенца. Он испускает тихий дребезжащий вздох — узнал.

Разумеется, говорит Мартино, и жестом просит меня наклониться пониже. Дай-ка я на тебя посмотрю.

«Бакалейная лавка» — совсем не то, чем кажется. В углу зала узкая лестница, а сверху льется мягкий свет, словно там нет крыши. Мартино снимает с крючка ключ и ведет нас в длинную комнату. Сюда свет поступает только через выходящую на улицу витрину. Ее нижняя часть затянута розовой пленкой, по которой пальцем написано — что именно, я разбираю не сразу.

Лунный сВеТ ОТкрыТ дЛя Вас

Так вот что имела в виду Ева, говоря про «коекого». Глаза медленно привыкают к полумраку; Луис и Мартино скользят передо мною тенями, лавируют между разбросанными в проходе круглыми столиками. У стены барная стойка с

пластиковой столешницей. На ней поблескивает одинокая бутылка. Мартино выстраивает в ряд три рюмочки.

Садитесь, говорит он. Садитесь, пожалуйста.

Луис пододвигает к стойке высокий табурет, я взбираюсь на него.

Сегодня у тебя печальный день, Долорес, говорит Мартино и наполняет рюмки. Пахнет анисом. Он барабанит пальцами по пластику, что-то ищет глазами.

А-а! восклицает он, ныряет под стойку, достает лимон. Режет его на четвертинки, выжимает в каждую рюмку.

Мы поднимаем бокалы. Напиток прохладный и мутный, с резким, обжигающим вкусом.

Долорес интересуется прошлым, говорит Луис.

Лицо его, когда он глядит на Мартино, сияет. Слишком уж вдохновенно он выглядит, и это меня пугает. Я вижу в Луисе своего отца, вижу, как он спешит по улице, помахивая шляпой, каждый жест говорит об успехе, он рвется наружу песней. Конечно же Луис бывал здесь. Слышал рассказы Мартино. Но меня не интересует прошлое. Мне хочется узнать, как случилось, что семью разметало, как она разлетелась во все стороны, как рисинки из горсти. Я хочу знать про Марину,

отца, Фрэн; про то, что это такое — сгореть.

Ты, разумеется, хочешь услышать про пожар, говорит Мартино, читая мои мысли.

Да. Я хочу знать всё.

Он пристально смотрит на меня поверх очков слезящимися глазами — от старости или от выпитого белки желтые, с красными прожилками, но ресницы длинные и черные: будто ненастоящие.

Всё, эхом отзывается он и закрывает глаза.

Пожимает плечами, снова улыбается.

Долорес, говорит он, всего я *не знаю*.

Голос его в полумраке «Лунного света» кажется шершавым. Он облокачивается на стойку и рассказывает мне всё, что *знает*.

Мартино надо только забрать долг. С тех пор, как его корабль причалил в Тигровой бухте, он кем только не работал — портовым грузчиком, швейцаром в гостинице, уборщиком, барменом, — и нигде не обходилось без неприятностей. А эта последняя работа — здесь не нужно стоять за стойкой, отмывать губную помаду со стаканов, разливать выпивку. Время от времени его вызывают вниз выгнать пьяницу или заставить кого-то заплатить за ром, но по большей части он просто стоит у бара бок о бок с Ильей Поляком, который ему никакой не друг и чей запах ему

не нравится.

За стойкой «Лунного света» свободного пространства немного: плита у стены оставляет узкий проход, здесь могут разойтись двое, но щуплых. В смену Сальваторе вообще не помещается никто другой; он приходит в ярость от любой попытки занять его территорию. А теперь тут Мартино с Ильей, и оба борются за каждый лишний дюйм. Они глядят поверх пустых кабинок то на входную дверь, то на граненые стопки, которые держат в руках, ждут, как верные псы, возвращения хозяина.

Им необязательно стоять рядом; один из них вполне бы мог обойти стойку и сесть на табурет — тогда места хватило бы обоим. Но Мартино и Илья в таком случае окажутся лицом друг к другу: один будет спиной к двери, а второму останется только приглядывать за липкими бутылками под стойкой. Ни один не хочет уступать ни пяди. Мартино выше и шире, его пиджак, когда он тянется через стойку, впивается в плечи. Он глядит на дверь, щурится, услышав на улице шаги, болтает в стакане бренди. Ему скучно до тоски.

Проходит вечность, прежде чем появляется Джо Медора. Он сует руку во внутренний карман пиджака, достает тоненький блокнот, бросает

его на стойку.

Сбор средств, Мартино. Ты пойдешь.

Это что-то новенькое. Обычно сборами занимается Илья. Он хвастается, как угрожает одному, уговаривает другого, со смехом рассказывает о некоторых женщинах — заплатить им нечем, но они готовы быть с ним нежными, а он просто переносит сумму за эту неделю на следующую. Одной из них стала Мэри Гаучи.

Сладкая бабенка, говорит Илья, целуя кончики пальцев. Сладкая.

Мартино ее знает; хорошенькая, замотанная, с кучей детей; одевается скромно, ходит, склонив голову набок. Последний раз он видел ее несколько недель назад. Это была его первая работа для Джо — выселить семейство Гаучи из комнат над «Лунным светом». Мэри стояла в окружении набитых бумажных мешков и наполовину заполненных ящиков. Один ребенок сидел у нее на бедре, а остальные носились взад-вперед с какими-то вещами и всё кричали: Мам, а мы это берем? мам, а это наше? Детей столько, что и не сосчитать, и все такие одинаковые. Фрэнки не было. Мартино, желая помочь, поднял первое, что увидел — тяжеленный матросский сундук. Из его глубин послышалось сдавленное мяуканье.

Там младенец, сказала Мэри, отводя прядь волос со лба. Поосторожнее.

Он потом все носил аккуратно, словно в каждом предмете мебели мог оказаться ребенок.

С тех пор он ее не видел, но Фрэнки появляется по-прежнему; ходит в хорошем костюме, ставит выпивку приятелям в «Топ-кафе» Тони, делает вид, что ничего не изменилось. Мартино думает, что приятно будет увидеть Мэри снова. Илья явно считает так же.

Это мое дело, босс, говорит он, хватая блокнот.

Джо Медора смотрит на него искоса.

Я тебе говорил, оставь Мэри Гаучи в покое. Так нет же. Ну вот, теперь у тебя другая работа.

Он забирает у Ильи блокнот и отдает Мартино.

Она должна за квартиру. Пойди получи.

До Ходжес-роу Мартино добирается к вечеру. До этого момента день был доходный. То ли потому, что человек новый, то ли потому, что он такой огромный, но люди, к которым он приходил, на минуту скрывались в доме и выходили со сложенными купюрами, или с часами, или с кольцом. Мартино берет все, что предлагают, делает пометки в блокноте, что дал ему Джо. Карманы топорщатся от квартплаты, процентов, золота.

А теперь перед ним стоит Мэри, прижимает к

груди пустую жестянку из-под печенья. На крыле носа угольная пыль. Она говорит так быстро, что он не успевает разобрать слов, но по глазам понимает, что денег у нее нет. Она смотрит за его спину, на дом напротив. Тихонько выругавшись, поворачивается, чтобы снова войти в дом.

Входите скорее, говорит она.

Только дверь оказывается запертой. Она толкает ее, снова ругается. Мэри ведет его по улице, сгибается под порывами ветра.

Тино, он забрал деньги! И что мне прикажешь делать? — кричит она, вертит головой раз, другой поэтому, когда они доходят до проулка, Мартино становится совершенно ясно, *что* ей прикажешь делать. Как Илья сказал про Мэри? *Сладкая*. Но не для Мартино — для Мартино она отчаявшаяся женщина. Она берет его руки, прижимает ладони к своему лицу, ведет их вниз — по телу. Мартино хватает ее за запястье — пытается остановить. Он не примет плату в таком виде. Она заглядывает ему в глаза, умоляет, злится, а потом он решает, что спасен: из-за угла доносится женский крик, потом еще один — еще настойчивее. Ребенок, которого он почти что узнает, выбегает со стороны Площади, прыгает птичкой в кусты и исчезает. Другой ребенок, поменьше, смотрит на змейку

голубого пламени.

В рассказе Мартино что-то не так. Он сидит с открытым ртом, уставившись в рюмку, пытается нащупать нить. Шевелит губами — репетирует.

Это чудо, что тебя нашли — он тычет в меня пальцем. Не забывай этого. Просто повезло.

Он кладет ладонь на стойку, показывает мне линии жизни и вторую, параллельную. Две линии жизни.

Вам повезло? — спрашиваю я. Эта демонстрация меня не убедила. Но он не закончил рассказ. Мне просто нужно запомнить его слова — на потом. Когда узнаю остальное.

Он кладет жестянку из-под печенья на стойку. При электрическом свете жесть превращается в серебро. Шляпа Фрэнки лежит на стойке слева, и Мартино понимает, что он у Джо. Он проверяет деньги, которые собрал, раскладывает на отдельные кучки банкноты, монеты, золото, составляет подробный перечень, а руки всё дрожат. Он пытается придумать, как сказать Фрэнки про пожар. Он уже прикидывает варианты: это сделал Илья — назло, или Джо, или тот, кого он не знает, или вообще никто. Мартино не жалко Фрэнки. После того как он понял, что приходится

делать Мэри, ему хочется его убить. Он наливает стакан, опрокидывает залпом, наливает еще. И вдруг замечает, что манжеты рубашки дюйма на два не достают до запястья и все в копоти, волосы на руке черные и слипшиеся. Похоже на шубу той женщины — как ее зовут? Ева! Ему еще так хотелось шубу потрогать. Вспомнив об этом, он глядит на ладонь и замечает царапину, облизывает ранку — на языке-то бренди.

Ему ждать еще целый месяц, прежде чем Ева сама его отыщет.

Они все вверх дном перевернут, говорит она. Кто-то должен за ними приглядеть.

Она сидит в кабинке, пьет вторую порцию рома, натягивает подол юбки на колени. Но всякий раз, когда наклоняется, юбка все равно ползет вверх. Запах ее духов ему нравится. Его молчание манит ближе. Придвинься ко мне, говорит тишина.

Вы ведь друг семьи?

Мартино не отвечает. Он *ощущает* себя таковым. Он понижает голос, чтобы их не подслушали.

Жена Сальваторе туда ходит. Она за ними присматривает.

Эта Карлотта? Еще одна психическая, говорит Ева. Они если не возьмутся за ум, детей потеряют.

Там такое творится!

Ева отказывается выпить еще, но, встав, оборачивается и касается его руки.

До скорого, говорит она.

Мартино нанесет семейству Гаучи визит.

Что там такое творится? Он стучит, но никто не отвечает, поэтому Мартино заходит за угол и направляется к высаженной двери в кухню. Во дворе валяются доски — по большей части обгоревшие. Он видит большую ножовку на скамье, горку блестящих гвоздей в газете. Когда он был здесь в последний раз, на этом месте стояла Мэри с ребенком на руках и выла, глядя в небеса. А теперь тут Фрэнки — без рубашки, на теле, несмотря на холод, поблескивают капли пота. Он сооружает клетку.

Это для чего? — спрашивает Мартино.

Для кроликов.

Великовата, говорит Мартино недоверчиво.

Для кроликов, упорствует Фрэнки.

Он ходит туда-сюда по тропинке, лавирует между досками и быстро говорит на родном языке. Мартино знает мальтийский, но не успевает разобрать поток слов, льющийся из глотки Фрэнки. Он глядит, как тот приколачивает доски одну над другой. Получается довольно беспорядочно. Руки

у Фрэнки в ссадинах от молотка. Наконец остов принимает некую форму: спереди Фрэнки сделал продолговатый дверной проем, который заставил железной решеткой. Вверху выпирают острые концы прутьев. Фрэнки загибает их ладонью.

Как Мэри? — спрашивает Мартино. Как младенец?

Фрэнки поджимает губы. И выплевывает на родном диалекте:

Иль демоне, Мартино. *Синистра. Синистра. Ла дьявола.*

В доме Мартино находит Розу, Фрэн и Люку — они до сих пор в ночнушках. Сидят одна за другой на лестнице, как часовые. Люка на нижней ступеньке. Она обнимает руками колени и, моргая, смотрит на него.

Вам сюда нельзя, говорит Роза, и голос ее журчит ручейком. Это место проклято.

От них волной идет страх. Фрэн начинает выть.

Мы никого не можем пустить, мистер, говорит она. Мы прокляты! На нас порчу наслали!

Мартино замолкает, тяжело вздыхает. Это рассказ не про пожар.

Вот здесь… говорит он, пытаясь объяснить.

Твоя кожа…

Он подносит раскрытую ладонь к моему лицу, но не дотрагивается до него.

Тут был пузырь — полный воды. Мартино поднимает рюмку; на стойке сверкает мокрый кружок. Он размыкает пальцем круг и ведет в мою сторону мокрую дорожку. Словно карту рисует.

Глаза закрыты, волосы обгорели.

Луис смотрит на меня. Теперь рассказ не нравится и ему, но мы застряли в «Лунном свете», в истории Мартино.

Тут было понятно, что заживет, что будет лучше. А это…

Он снова умолкает; остальное он может только показать. Мартино скрючивает руку, гнет ее к груди. Как Роза вчера утром.

Такое увидишь…

Пальцы выкручены, согнуты в клешню, тело невольно повторяет те же движения. Как будто нечто корчится в огне. Отчаянная попытка защититься.

Вот какая ты была. Фрэнки решил — Мартино распрямляет ладонь, — что в его дом пришел дьявол.

Он опорожняет рюмку, аккуратно ставит на

стойку. Свет вокруг него матовый.

Они боялись, говорит он.

И тогда я понимаю.

Боялись *меня.*

Долорес, он был человек суеверный. Он был глупый человек.

Рассказ закончен. Я хочу спросить еще, но во рту у меня вязко, во рту у меня грязь. Я тянусь к рюмке, но она пуста. Не помню, как я все выпила. Луис резко спрыгивает с табурета.

Извините, мистер Тино, нам пора. Пойдем, Дол, говорит он, не глядя мне в глаза. Они нас заждались.

Мартино идет за нами через зал. У двери он наклоняет голову, и она касается моей.

Прости меня, говорит он, крепко меня обнимает и отпускает.

* * *

Луис ведет меня к внутренней гавани. Он обхватывает себя руками — будто замерз, но на улице теплее, чем в «Лунном свете». По воде бежит мелкая рябь. Луис подпирает щеку кулаком.

Он тебя расстроил, тетя Дол? Ты уж извини.

И весь съежился от огорчения.

Он просто рассказал историю, Луис, говорю я.

Забудь об этом. Есть вещи и похуже.

Мы глядим на бухту. Восточный док прекрасен, простор неба рассечен надвое полосой желтого камня. Вдалеке мерцают огни гавани. Они похожи на маленькие солнца. По небу проносится птица.

Я еще тебе помогу, тетя Дол, говорит он.

Хватит поисков, Луис. Идем домой.

Он согласно кивает, но глядит загадочно, лукаво.

Конечно, говорит он. Только сначала я должен сделать кое-какие дела. Кое-что проверить. Я сам туда приду, ладно? Луис идет быстро, словно ему не терпится убраться отсюда; кажется, он похож на свою мать больше, чем думает.

Девятнадцать

Селеста возмущенно кричит:

Где ты пропадала? Мы ждем — она глядит через мое плечо на улицу. А где Луис?

Я была в порту, говорю я. И видела Мартино…

Она не дает мне договорить. Выставляет между нами руку — как нож. Рубит ей воздух. Селеста не впустит меня, пока не скажет свою реплику.

Я тебе говорила, Долорес, я этого не допущу. Думаешь, можешь раскопать здесь все, что захочешь, и снова уплывешь? Нам-то здесь жить!

Только я решаю, что ее тирада закончена, как она хватает меня за рукав пальто и тащит в столовую. Зубы у нее стиснуты; она с наслаждением впилась бы в меня.

Я не шучу, заявляет она. Вечера воспоминаний не будет.

И она отворачивается, улыбается пустой, заученной улыбкой. Старшая сестра. Безукоризненная хозяйка.

Ну, наконец-то, говорит она собравшимся. Явилась, пропащая душа.

Душная кухня. Люка заняла место у раковины,

где прежде всегда стояла Ева, и делает она то же самое — повернув запястье, стряхивает пепел в слив. На ней по-прежнему туго повязанный черный платок, темные очки подняты на лоб — словно запасная пара глаз. Люка выглядит вблизи устало. У нее нет ресниц, веки дряблые и морщинистые, двумя коричневыми росчерками сделаны брови. Губы она запечатала узкой темно-красной линией — словно боится, что через рот утекут мысли. Это семейство умеет сделать макияж.

Когда я появляюсь в дверях, она громко хохочет.

Ты бедняжку ненавидела, говорит она Розе. Мучительница! и я решаю, что это обо мне.

Не мучила я ее! — говорит Роза. Эта собака Джексонов всех доставала. Вонючая, и вечно скулила. *Я-то* животных люблю. Вот Парснипа спросите!

Пес Розы пристроил морду у Джамбо на коленях; тот пытается его отпихнуть, но пес упорен. Джамбо пялится в чашку, ему жарко и неудобно. Пес, услышав свое имя, произнесенное так громко, ныряет под стол.

Я впитываю все — удушающую жару, слабый запах взволнованных тел, окна в капельках вла-

ги. Места мало. Роза с Люкой, Селеста, Джамбо. А теперь еще я. Нам всем здесь никак не разместиться. Я наблюдаю за их разговором: рты открываются и закрываются. Роза смеется, Люка наклоняется и шепчет что-то ей на ухо, у Селесты — она злится, но вслух этого не высказывает — глаза-щелочки. Она барабанит по столу розовыми наманикюренными ноготками.

Изо дня в день мама возилась с нами на этой кухне. Каково это было — всех шестерых надо было накормить, одеть, за всеми приглядеть. А еще — ждать Фрэнки, составлять списки, писать записки кредиторам.

Я тоже отлично умею составлять списки; мне всегда хочется все расставить по местам…

Такие мы и есть, скажи, Дол?

Какие? — пытаюсь сообразить я.

Дикари и невежи, отвечает Роза.

Говори за себя! — мрачно бросает Селеста.

Она сдергивает с блюда с сандвичами посудное полотенце, подозрительно принюхивается, после чего протягивает блюдо мне.

Бедная миссис Рили! А что до отца Томелти…

Это все то же красное полотенце миссис Рили. Я ничего не говорю. Беру сандвич, он так густо намазан маслом, что оба треугольника хлеба

сползают с куска ветчины. Убедившись, что никто на меня не смотрит, я скармливаю сандвич псу. Селеста вешает посудное полотенце на стул Джамбо.

Рили, наши соседи. Лю, помнишь их?

Она надувает щеки, смотрит хмуро и сосредоточенно, и голос ее звучит потрясающе точно: «Делла! Где это треклятое „Эхо“?» Джамбо смотрит на нее озадаченно.

Они им задницу вытирали. Не надо на меня так пялиться — мы все так делали. Даже наша леди Изыск, говорит Роза, кивая на Селесту. Селеста берет сандвич и откусывает крохотный кусочек.

Роза, ты не могла бы хотя бы за едой вести себя прилично?

Теперь уже поздно рассказывать про посудное полотенце.

Они резали бумагу на четвертушки, говорю я, стараясь не смотреть в мрачное лицо Селесты. Все глядят на меня. Роза от удивления раскрывает рот.

А ты откуда знаешь? — спрашивает она.

Мама иногда перелезала через забор и воровала у них из сортира. Говорила, пригодится кроликам в клетку. Для тепла.

Молчание. Сама не знаю, откуда всплыло это

воспоминание. Селеста пристально разглядывает сандвич. Люка закуривает очередную сигарету. Роза берет бутылку виски, отвинчивает крышку.

Дол, где я видела стаканы? — говорит она, оглядываясь по сторонам.

Они в буфете под лестницей. Я протискиваюсь между коробками и мешками, дотягиваюсь до полочки, на которой стоят пыльные разрозненные стаканы. И зову Розу.

Подойди-ка, я тебе их передам.

В углу помигивает счетчик. Раньше была круговая шкала: колесико с красной зарубкой крутилось то быстро, то, когда в доме было темно и тихо, медленно-медленно. Красная кайма полотенца, которым миссис Рили подвязывала маме подбородок; язык Евы, слизывающий крем с губ; расколотый рубин. И — еще ярче и краснее — кровавые жемчужины, капающие мне в ладонь. Я пытаюсь все расставить по местам.

Мама стоит у буфета и кричит наверх:

Роза! Фрэн! И, кому-то другому, тихо: Они еще не вернулись из школы.

Она, должно быть, забыла, что мы с ней играли в прятки. И я сижу здесь, в буфете под лестницей.

Я буду считать до ста, а ты, Дол, иди спрячься!

Она поцеловала меня в макушку и отвернулась. Я слышала, как она прошла в столовую, и тут все стихло. Это было давно, вечность назад. Я следила за шкалой счетчика, ждала, когда снова появится красная полоска. Досчитала докуда знала, а остальное сочинила.

Одиндесять, двадесять, тридесять, сто!

Я думала, она придет и меня найдет.

Она включает свет, и колесико начинает вертеться. Я хочу позвать ее, но слышу мужской голос. Он смягчает окончания, и слова будто тают. У отца такой же голос, когда он бреется или когда выиграл. Но это не отец.

Иди ко мне, говорит мужчина.

Фрэнки вернется с минуты на минуту, отвечает мама. Голос у нее напряженный.

Он смеется. Я пытаюсь разглядеть в щелку, что происходит, но вижу только край маминого платья. Прохладный воздух дует мне в уголок глаза. Они стоят совсем рядом, и она вздыхает — резко, прерывисто, словно уколола палец. Он наваливается телом на буфет, и становится темно. Шепчет что-то — что, я разобрать не могу, — и снова смеется.

Сюда, говорит она, отводя его в сторону. До меня доносится шум — свистящий, шелестящий.

Только бы она меня не нашла! Когда мама снова говорит, она почти поет.

Ты разрешишь мне ее увидеть? — говорит она. Разрешишь?

Течет вода. На столе что-то двигают.

В любое время. Как только пожелаешь.

Ты обещал, говорит она.

Мы можем уехать, когда скажешь.

Я не могу.

Она начинает спорить с мужчиной. Шаги по линолеуму, скрежет задвижки.

Тебе решать, говорит он. Все очень просто.

Мама кричит в темноту. Так громко, что ее слышит вся улица.

Я не могу! Ты же знаешь, что я не могу!

Холодно и тихо. Красная полоска на колесике то появляется, то исчезает. Она вряд ли меня найдет. Я выползаю наружу: комната залита светом, пахнет ее духами и еще чем-то незнакомым. На кухонном столе стоит толстяк Тоби, под ним две пятифунтовые бумажки. Мама стоит во дворе, закрыв лицо руками. Будто все еще водит. Я проскальзываю мимо нее, тихонько подымаюсь наверх. Она догадается, где меня искать.

* * *

Дол, отойди, дай я их достану, тихо говорит за моей спиной Роза.

Я сама справлюсь.

Она ставит стаканы на стол: бокал со сколом по краю, три пыльных стакана, липкую от грязи пивную кружку. Селеста подносит бокал к свету.

М-да. Помыть надо.

Сойдет, говорит Роза и скребет его ногтем. Хрусталь. Я его заберу.

Селеста возмущенно фыркает.

Подождала бы хоть, пока остынет тело матери.

От нее и так особого тепла не было, говорит Роза.

Мама сидит у огня, в руке платок, лицо покраснело от слез. Роза не это имела в виду. Всем немного неловко. Настал момент поговорить начистоту.

С *тобой* она никогда не была холодна. Ты была ее деткой ненаглядной. Тебя они хотели.

Не заводись.

Постарались тебя пристроить получше, разве нет? — Голос у Розы звенел. А мы как же? А Фрэн?

Селеста встает.

Все, Джамбо, пошли.

Не нравится, да? — говорит Роза, моя стакан под краном. Неприятно такое слушать?

Люка кладет руку Селесте на плечо.

Сядь, говорит она миролюбиво. Нам всем не помешает выпить.

Вы этого не видели! — говорит Роза, поворачиваясь к нам. Вы не видели, что он сделал.

Я видела, раздается голос.

Это мой голос. Я разрываюсь надвое: одна половинка здесь, в кухне, а другая — в саду у забора, стоит и смотрит. Это похоже на кукольный театр: Панч колотит Джуди. Роза с Люкой переглядываются — прикидывают, возможно ли такое. Селеста садится.

По их лицам я понимаю, что они не желают сдаваться. Момент, когда все может быть сказано, снова ускользает. Передо мной опять далекие годы: табличка «Не входить! Это и ТЕБЯ касается!», и то, как они были вместе — играли на улице, ходили в школу, и все без меня. Меня до этого не допускали.

Иди наверх, Дол, сложи пазл.

Чтобы я не путалась под ногами у отца. И меня пронзает насквозь, я снова вижу полумрак «Лунного света», слышу тихий голос Мартино:

они боялись.

Они и сейчас боятся.

Селеста берется за стаканы: отодвигает Розу и начинает мыть их один за другим. Ставит на сушку.

Куда запропастился Луис? — произносит она растерянно. Ни в чем на него нельзя положиться.

Джамбо достает из кармана часы, словно это заставит брата прийти поскорее. Смотрит, сосредоточенно моргая, на циферблат.

Уже половина четвертого, говорит он удивленно.

Выпьем по рюмочке и пойдем, тут же подхватывает Селеста. Луиса ждать не будем.

Никто не возражает. Люка тянется за спину Джамбо, берет посудное полотенце, засовывает его в стакан, трет, пока стакан не начинает визжать, и, передразнивая Селесту, разглядывает его на свет.

Ну как, ты удовлетворена?

Мы поднимаем стаканы. Селестины губы уже у кромки, но тут я предлагаю тост. Это последняя попытка.

За нас, говорю я. За *всех* нас, где бы мы ни были.

Не важно, про кого они подумали: про Фрэн, Марину, отца, Сальваторе или даже Джо Медору. Я включаю в список всех. Включаю себя. Я смотрю на сестер: они стоят на кухне, подняв стаканы, и готовы выпить. Застыли неподвижно — как на фото в семейном альбоме. Взять бы ручку из кружки с Тоби и написать у них над головами имена. Я отпираю дверь, через которую можем пройти мы все. Уж это-то они мне должны позволить. Но Селеста решительно захлопывает дверь.

За *маму*, говорит она твердо.

Ага, радостно смеется Роза. Про нее-то мы точно знаем, где она. Слава Богу.

* * *

Я не умею пить днем. Может, всё из-за этого. Или, может, из-за того, что я думаю о Сальваторе, увязшем в густом иле на дне дока. Как же отвратительно, когда тебя тащат на свет божий. Розина рука в стакане, скрип полотенца о стенки, лампочка, просвечивающая через стакан, чайки, взмывающие то вверх, то вниз. Что-то рвется наружу.

Я стою во дворе. Перед глазами проплывают быстрые, как золотые рыбки, всполохи света.

Иди в дом, Дол, говорит Люка. На улице сыро.

Она спускается со ступенек и прислоняется к двери сарая. Капли дождя падают мне на лицо. Внутри меня что-то скребется и рвется наружу.

Это все алкоголь, говорит она, когда меня снова рвет. На пустой желудок.

Клетка в углу сада. Разорванная шкурка, мех на языке.

Вряд ли, с трудом выговариваю я.

Тогда я дам тебе одну штуку. Это на травах. Должно помочь.

Люка уже промокла. Капли на ее платке переливаются, как жемчужины. Она смотрит на клетку, виднеющуюся сквозь заросли травы. Ей тут не нравится.

Помнишь кроликов? — спрашиваю я, не давая ей уйти.

Короткое, низкое «нет». Раньше Люка врала куда искуснее.

Быть не может! Их были десятки. Он покупал их в подарок…

Не помню, говорит она и отворачивается. Пойми, Долорес, я не помню ровным счетом ни-че-го.

Дождь, клетка в саду, Люка, отрицающая все. Моя тошнота вырывается криком:

А я помню! Как вы с Розой меня там заперли.

Люка, как тебе не стыдно!

Она оборачивается ко мне. В сумерках ее собственная болезнь сияет бриллиантом. Люка закрывает глаза; она устала ничего не помнить.

Дол, мы хотели тебя *выпустить*, говорит она.

* * *

Луис склонился над парапетом Дьяволова моста, руки для упора расставлены в стороны. Издали это похоже на распятье. Сколько он себя помнит, в арках всегда кто-нибудь жил. У некоторых до сих пор висят шторы, а там, где сохранились двери, появились новые висячие замки. Анто и Дениз Луис знает по именам, остальных — только в лицо. Луис успевает увидеть каморку Анто, перед тем как поскальзывается на жидкой грязи. Он проглядывает все арки и замечает над одной рождественскую гирлянду. Лампочки разноцветные — зеленые, и красные, синие, желтые, какие-то разбиты, каких-то вообще нет. Провод от гирлянды висит, болтаясь, и никуда не подключен. Луис понимает, что сильно опаздывает, но ему плевать. У него важное дело. Он проходит под лампочками, приподнимает те, которые свесились совсем низко. Гирлянда напоминает ему о ресторане и о ярких всполохах огней. Теперь ему

ясно, что не стоило называть это место «Лунным светом» — в этом нет ни блеска, ни роскоши. Надо сказать об этом Джамбо. Луис заглядывает внутрь. Он ищет тележку из супермаркета, в которой сложены мешки. И надеется, что не ошибся.

* * *

Все проржавело. Вместо крыши лист гофрированного железа, в углублениях посверкивают ручейки воды. Я ловлю ладонью каплю, она — как запотевшая звездочка. У дверцы растут сорняки, перекладины обвил плющ. Я отдираю одну ветку, мокрицы, живущие под ней, разбегаются во все стороны. Решетка вся в ржавчине. Я почти надеюсь увидеть внутри кролика или стайку пищащих бело-розовых крольчат с закрытыми глазками. Но внутри ничего, кроме темноты.

Дождь стучит по крыше — как будто с неба сыпятся камни. Понять это можно, только если ты внутри.

Как-то про меня забыли — я смотрела, как она ходит в освещенном квадрате кухонного окна, и мечтала, чтобы она вышла и забрала меня. Я видела, как она склонялась над раковиной. А иногда стояла, зажав уши ладонями, и смотрела в

пустоту. Или включала воду, и я слышала, как она струится по трубам. Вода будет так литься вечно.

Как-то меня наказали — поймали, когда я притаилась за дверью на лестницу и слушала их. Мама кричала. Забери меня с собой, сказала она. Меня тоже забери. Она распахнула дверь и стащила меня вниз — через последнюю широкую ступеньку, а потом был холод плит под ногами, пошатывающаяся доска, переброшенная через лужу. Папе не говори, сказала она шепотом, вонзившимся мне в уши. Не говори ему. И я поняла, что умоляла она не отца, а какого-то другого мужчину.

И был еще один случай — без названия.

Я здесь, потому что я в безопасности. В доме запах убийства, едкий и острый, как запах гари. Слева и справа я вижу высокую траву, дорожку, доску через лужу. Дверь на кухню открыта, свет загораживает тень — я не хочу попадаться ей на глаза! Наверху, в комнате Розы и Селесты, темно. А в Клетушке горит свет. Лампочка посреди потолка похожа на грушу.

Он спускался с холма, шляпа надвинута на глаза, дождь стеной. Он пришел слишком рано — наверное, все проиграл. Я стояла в дозоре. И

предупредила бы маму — я уже шла к ней, но, спустившись с лестницы, я увидела мужчину. Он склонился над ней, ее голова на столе, она поворачивается то влево, то вправо, и волосы скользят по скатерти. Прямо за ней стоит кружка с усмехающимся толстяком Тоби. Ее глаза встречаются с моими. Она замирает, и мужчина оборачивается, глядит на меня, усмехается. Улыбка сверкает золотом. Его рука закрывает мамин рот, а то, что я поначалу приняла за кровь, оказывается багровой искрой.

От двери доносится крик. Фрэн тоже в дозоре, стоит на улице и делает, что велели, но на сей раз отец ее поймал. Он нас всех поймает. Мы бежим резвым ручейком: мы с Фрэн проскальзываем мимо отца, он тянет руки к нашим шеям, но ухватить не успевает. Джо Медора выскакивает из окна столовой на улицу. Но маму отец настигает. Он сдирает с нее платье, как шкурку с кролика. И теперь она лежит в Клетушке, и над ее головой раскачивается голая лампочка.

Он стоит на заднем крыльце и поджидает Фрэн. Если я хорошенько притаюсь, он меня не найдет.

Все это всплывает в памяти: кролики и их запах совсем рядом со мной, в клетке; влажные куски шкурки; рука отца в тельце кролика, рас-

полосованный живот, темнота внутри, горячий удушливый запах. Жара.

Он бы тебя придушил.

А меня, Дол, он вообще хотел распилить на куски — как фокусник.

Я представляю, как мама лежит наверху, на узкой кровати, распиленная пополам. Папа стоит над ней с ножовкой в руке, и из нее, как из лопнувшей трубы, хлещет кровь. Его тень на лестнице — огромная, словно смерть. Может, он уже убил ее. Отсюда я разобрать не могу: в темноте кровь кажется черной.

Фрэн пробирается к задней двери. Я хочу закричать, но он меня опережает. Одним ударом сшибает ее с ног. Она с трудом подымается. Он орет ей:

Руки по швам!

И она это вытерпит. Ремень разрубает воздух, исчезает из вида, взлетает снова. Крик Фрэн совсем рядом — рыдающий, булькающий. Что-то рвется наружу. В углу газетные квадратики, изорванные когтями, крольчиха кружится вокруг своей оси, все быстрее и быстрее, и прерывисто дышит. Из нее вываливается крохотный комочек, потом еще один, еще, еще, они шмякаются как куски мокрой глины, как рубины на солому.

Крольчиха смотрит на меня. Это ее детеныши. Маленькие, пищащие. Мне хочется смеяться. Хочется побежать и рассказать всем.

Смотрите! Детки! Шесть новых деток!

Но они покрыты пунцовой пленкой. Они под ней задохнутся. Отец стоит у окна кухни, в раковину бьется струя воды — смывает с острого язычка ремня улики.

Дол, он бы тебя придушил!

Волна жара. Темнота. Тяжесть его тела.

Одного за другим я беру крольчат в руки, снимаю с их голов пленку. Не дам им задохнуться! Времени на это уходит много. Приходится использовать все подручные средства — солому, бумагу, пальцы, рот.

К утру крольчиха их съела. Все, что осталось, я показала маме. И пыталась ей объяснить.

Я же тебе уже говорила, не надо было вмешиваться, сказала она. А ты никак не могла удержаться, да? Обязательно надо было вмешаться?

* * *

Мы с Люкой стоим на коленях в густой траве. Давно ли, не знаю. Она убрала волосы с моего лица, губы ее у моего уха. Она шепчет: Ну, вот и

всё. Всё прошло.

Прошло.

Успело стемнеть. Воздух стал синим.

Это всего лишь плохие сны, Дол. Больше ничего. Они каждому снятся.

Она обнимает меня, мы, пошатываясь, как пара пьянчуг, идем по доске. Я не готова возвратиться к остальным. Люкин платок соскальзывает с головы. Она у нее совсем лысая. Люка замечает мой взгляд.

Снова вырастут, говорит она со слабой улыбкой.

Я раньше думала, моя рука тоже вырастет. И все присматривалась. По ночам лежала и велела пальцам тянуться, расти — как распускается цветок в замедленной киносъемке. Так что я знаю, что может вырасти, а что нет, и знаю, когда Люка обманывает.

Роза сидит на кухне одна. В темном окне за ее спиной отражаемся мы с Люкой — мокрые и дрожащие.

Они ушли, говорит Роза и поднимает стакан с виски. Селеста просила с вами попрощаться.

Она делает глоток, втягивает через зубы воздух. Пододвигает бутылку нам.

Скажи Люке, пусть непременно заглянет перед

отъездом, передразнивая отрывистый Селестин говорок, произносит Роза. Так и сказала, честно! Роза прижимает ладонь к груди, говорит с напускным надрывом: Для тебя, Дол, ни словечка не нашлось. И для меня. И для Парснипа.

Люка улыбается. Стягивает платок с шеи, наматывает на руку. Вокруг рта размазана помада.

Так что, выпьем за старую стерву? — говорит она.

Роза пододвигает нам два стакана и наливает в каждый по порции виски.

Хоть мы это уже и делали, скрипит она. Но где раз, там и второй.

На сей раз я пью с ними, и мне тепло — от виски и от того, что мы здесь.

Ну, тебе получше? Лучше наружу, чем внутрь, говорит Роза.

Я не доверяю своему голосу, поэтому приходится кивнуть. Люка допивает свой стакан одним махом. Снова туго повязывает платок. Вынимает из сумки салфетку, утирает рот, затем снова подкрашивает губы — быстро, уверенно. Без зеркала. Она смотрит на Розу.

Ты готова?

Они тоже уезжают. Роза вернется к Теренсу, а Люка — в Ванкувер.

Не пропадайте, говорит Люка, и мы все смеемся. Знаем, что пропадем.

Список

У меня дорожная сумка, старые деревянные кости и четки. Сундук я тоже заберу. Он мне служил кроваткой, когда я была маленькой. Пережил пожар. Еще есть фотография, где я пока целая, рядом со мной сердитая Люка, хмурится из-под копны огненных волос, и еще одна — где мы все сидим на диване, Фрэн обнимает меня за плечи, рот у нее открыт — она собирается сказать что-то. Нет ничего, что я могла бы взять в память о Марине. Ни намека на то, какой она была, даже фотографии нет. Но можно ли тосковать о том, чего никогда не имел? это лишь фантомная боль.

Я шла по улице с двумя сестрами. Пес Розы бежал впереди, Люкин умный чемодан на колесиках катился сзади. На углу, где была когда-то лавка Эвансов, мы вызвали такси из автомата. На улице мы не встретили никого, ни единого человека.

Ты как одна-то останешься, Дол? — говорит Люка. Может, с нами на вокзал?

Я сказала ей, что мне нужно кое-что привести в порядок. Я поеду ночным поездом.

Как думаете, они Парснипа возьмут? — спросила Роза. Не то мне придется в город пешком переться.

Но таксист улыбнулся и погладил пса по голове.

Тесновато будет, сказал он. Только на сиденье его не пускайте.

На этот раз на нем была ковбойская шляпа. Дотронувшись до ее полей, он кивнул мне.

Ну как, нашли маму? — спросил он.

В том числе, подумала я, но не сказала ничего.

Так, девушки, куда вы меня везете? — спросил таксист, и они помахали мне на прощанье.

А потом я это сделала. Передвинула кровать в угол комнаты, а стол к окну. Как всегда было. Принесла с кухни стул. Отдернула занавески, чтобы в темноте проще было представить, что в доме Джексонов живут, там куча чумазых ребятишек и собака на крыльце. Я села там, где сидела с мамой, когда та занималась глажкой, а потом читала «Криминальные новости» и прятала их. Я вынула фотографию, которую дала мне Ева, и на обороте составила список.

Если бы мама не вышла из дома, я бы не обгорела

Если бы она не была должна Джо Медоре за квартиру
Если бы Фрэнки не проиграл те деньги
Если бы у нас все еще было кафе
Если бы Фрэнки не проиграл его
Если бы я была мальчиком
Если бы Фрэнки не проиграл меня

Места мне не хватило, но оставалось добавить только одно: обида может плясать, как пламя на ветру; пылать и пылать. Спросите Фрэн.

Я беру список и кладу в сумку. Мама не кричит мне вдогонку, что и как делать. Я не иду в лавочку взять чего-то в кредит, я иду на такси, которое увезет меня отсюда. На холме двое — шагают один за другим. Тени их в свете фонарей то длинные, то короткие. Первый — Луис, он мчится ко мне, улыбается — довольно и чуть смущенно. Я рада его видеть.

А я как раз собиралась вызвать такси, говорю ему я. И узнаю ее. Она плетется по дороге за ним следом, толкает перед собой тележку с какими-то мешками и похожа на беженку из зоны военных действий. Закутана в невероятное количество платьев, пальто, шалей, пряди волос закрывают лицо. Грязно-бурые волосы. Двигает тележку в

сточную канаву и идет ко мне, вытянув руки перед собой — словно ждет, что наденут наручники. Она что-то мне показывает.

Я правильно сделал, тетя Дол? — спрашивает Луис.

У меня нет ответа. Ее лицо такое живое, рот открыт — будто она собирается что-то сказать. Руки желтые, в синяках, но в свете фонаря я вижу на грязной коже поблекшее распятье и чернильные буквы: «ФРЭН».